ИВ. НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ

ХРИСТОС у моря Галилейского — видение Петра

ИВ. НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ

ХРИСТОС у моря Галилейского — видение Петра

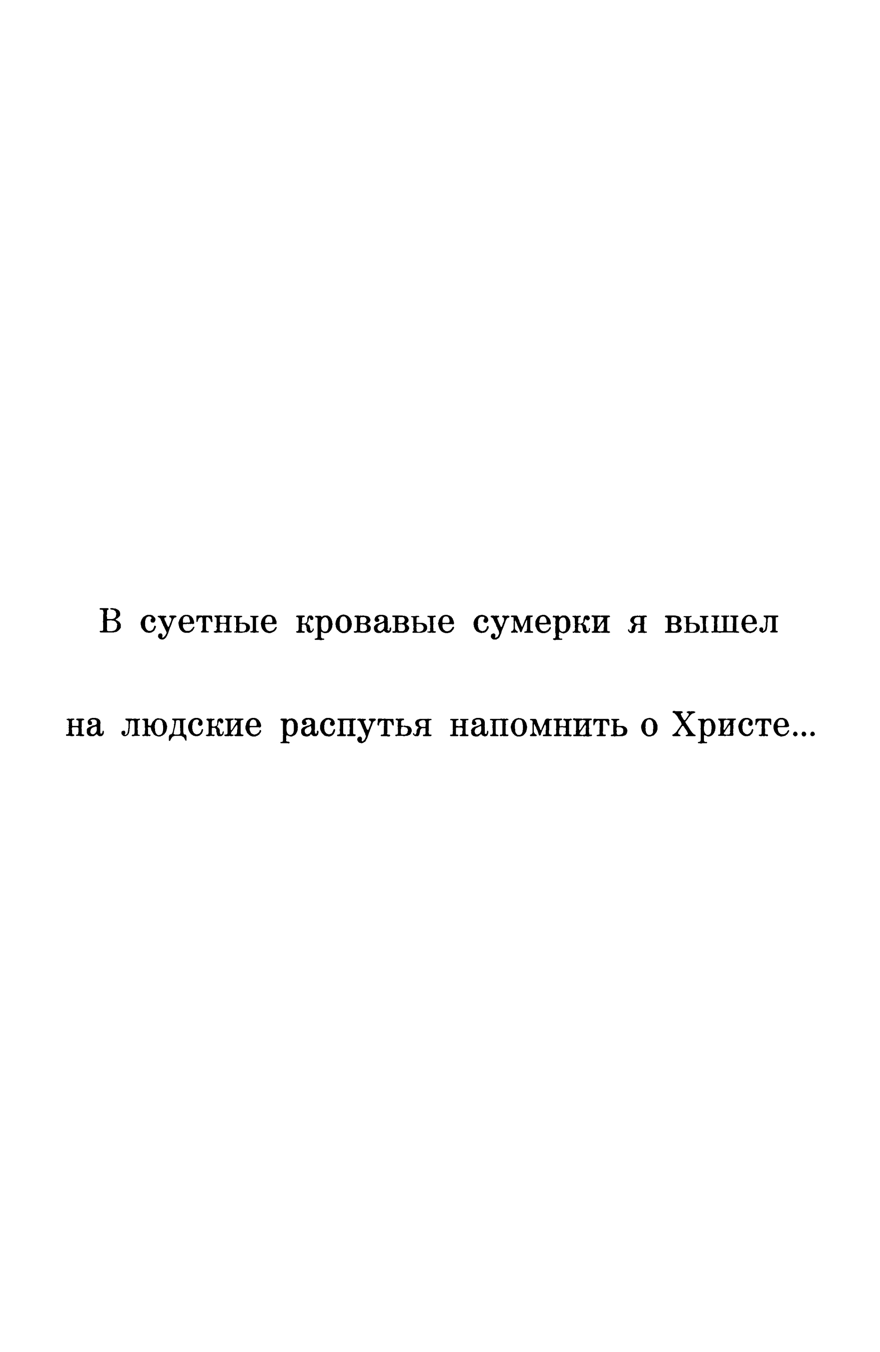
Первый посмертный сборник рассказов.

ПАРИЖ
1970

Посвящается жене моей
Ю. А. КУТЫРИНОЙ

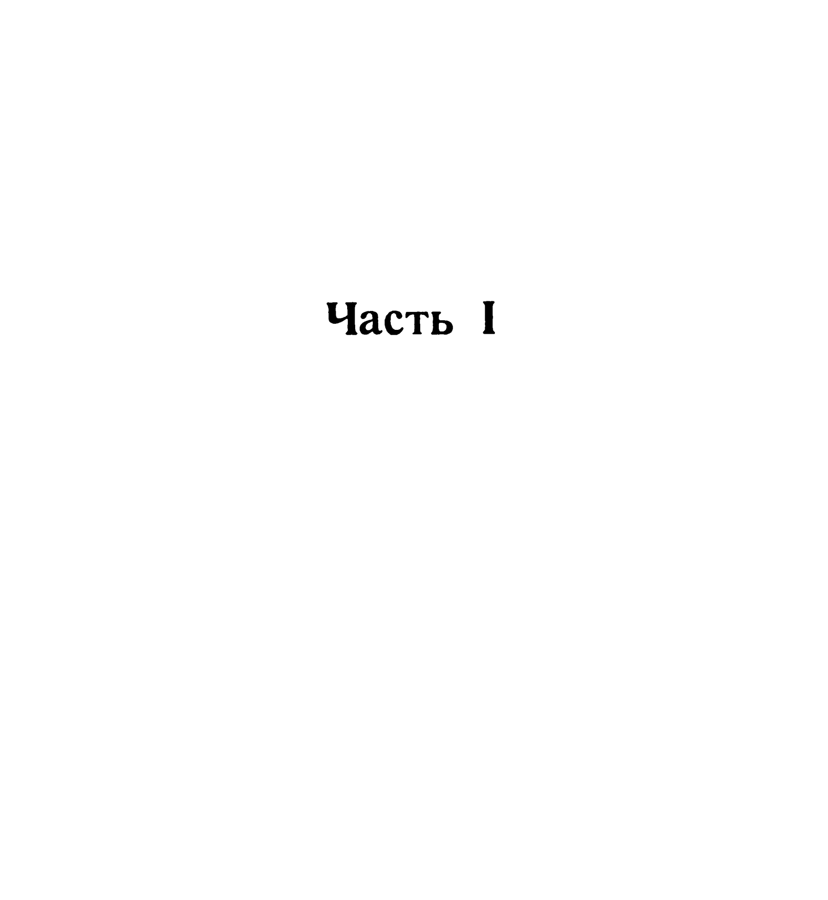
Издание Русского Научного Института.

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München-Allach, Peter-Müller-Str. 43.
Printed in Germany


В суетные кровавые сумерки я вышел

на людские распутья напомнить о Христе...

Ив. Новгород-Северский в 1926 году



Часть I

ХРИСТОС У МОРЯ ГАЛИЛЕЙСКОГО — ВИДЕНИЕ ПЕТРА

В суетные кровавые сумерки я вышел на людские распутья напомнить о Христе . . .

Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю.

И, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним.

Дул сильный ветер, и море волновалось.

Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались.

Но Он сказал им: это Я; не бойтесь. (Евангелие от Иоанна, гл. 6, ст. 16—20).

Очарованный кроткой красотой Учителя, Петр с необъяснимой грустью бродил, затерявшись в долине.

Тихие поля, незримо струящие к небу свой аромат, бескрайние нивы, медленно льющие свое золото куда-то далеко-далеко на восток, молитвенно, тихо, мерно склоняющие свои зрелые колосья перед Кем-то Невидимым, и синее-синее небо, глубокое, спокойное . . .

И нет ни в чем ни грусти ни радости, лишь мир, тишина, спокойствие.

О, какое чудное очарование в этом торжественном спокойствии!

Откуда, почему это спокойствие?

Здесь витает Дух Учителя. И Петру кажется, что он бродит по огромному величественному храму, где все тихо, беззвучно поет гимн Невидимому.

Где море, где горы, где небо?

Все слилось в голубом беззвучном гимне Невидимому. И нет конца этому гимну, а начало вот здесь, под ногами, в этом океане голубых головок.

— Посмотрите на птиц небесных, на лилии долин . . .

Медленно идет Петр, осторожно шагая среди цветов, боясь коснуться этих живых, заполненных тысячей ароматов, лампадок, боясь затоптать этот живой ковер, ведущий к Престолу, к сияющей лестнице сливающихся с небом гор, боясь грубым движением внести диссонанс в голубой, торжественный, бесконечный гимн Невидимому.

Медленно идет Петр. В душе тревога и грусть.

Это всегда так, когда он видит Учителя: странное очарование и необъяснимая грусть. И нет тишины, нет мира, нет того, чем полон мир, что есть в Учителе.

Учитель! Какая чарующая, какая тихая красота в Нем, какой мир, сколько кротости в прекрасных очах Его, как торжественно плавны все Его движения, сколько прелести в Его скромных, белых, легко развевающихся одеждах. Нет, Он — лилия долин. Прекраснейшая из лилий в огромном саду Невидимого. А как действует Он на окружающее! Как все изменяется даже в природе! Нет, Он — не лилия, Он — волшебный садовник в саду Невидимого, Он — великий музыкант, великий и единственный в дивном хоре, исполняющем голубой гимн Невидимому. Когда Он появляется на тесных, людных улицах, толпа расступается, шум и крик

затихают, и все кажется примиренным, исчезает нестройность и резкость уличной жизни. Все шепчут «Учитель! Учитель! Что скажет Учитель?»

Как я люблю Учителя! Но что я могу сделать для Него? Защитить Его, отдать за Него жизнь? Я защищал бы Его больше, чем свою собственную жизнь.

Но жизни Его не угрожает опасность. Все любят Учителя, все слушают, что говорит Он. Говорить другим то, что говорит Учитель? Разве так расскажешь? О, эти простые слова о любви прекрасны только в Его устах. Но что я могу сделать для Учителя? Ничего я не могу сделать для Него, ничего. Ходить за ним и слушать? Я больше не могу ходить. Я часто волнуюсь, я часто не понимаю, что говорит Учитель, или понимаю не так эти простые, эти прекрасные слова.

Долго бродил Петр бесцельно, со смутной тревогой в душе, с необъяснимой грустью.

Но что это? Шум?

Петр провел взором вокруг и увидел знакомый, цветущий уголок родной Галилеи, то самое улыбающееся солнцу место, где цветут вечноюные анемоны и маки, что цвели и при Аврааме, красуются те же лилии полевые и поют те же птицы небесные, блаженной беззаботности которых учили притчи Учителя, где впервые раздались удивительные слова о любви к Невидимому и людям, любви беспредельной как мир, любви всезаполняющей вседержащей. Ровное бескрайное море. Легкие, совсем легкие волны бороздили его поверхность и бесшумно спешили одна за другой, вместе с золотыми волнами хлеба, в одном ритме.

И плеск их и шум прибрежного тростника — ничто не нарушало тишины, даже подчеркивало ее.

* *
*

Не взмахнув крылом, тихо, плавно проплыла в вышине какая-то морская птица. Проплыла, и стало вокруг еще безмолвнее.

С болью в душе Петр вспомнил Тимофея. Вспомнил, как тот спокойно слушал Учителя. Но он не мог так слушать. Он волновался и уходил.

Но вот и Тимофей. Идет от залива с сетью за плечами, тяжело, по-рыбачьи ступая в вязком песке. По загорелому обветренному лицу струится пот.

Вот он какой! Идет и не смотрит. И не думает ни о чем.

— Что, Тимофей, видел ли Учителя?

— А! Учителя? Нет! Ах, да!

И скользнул спокойным рассеянным взглядом мимо Петра куда-то к морю.

— Расскажи, где видел Учителя, что Он делает, говорил ли? Где Он сейчас — Учитель? Говори же, Тимофей, говори. Мне это так нужно сейчас. Если ты расскажешь мне, что говорил Учитель, я пойму. Ты такой спокойный. А Его я слушать не могу. Я не понимаю. Я волнуюсь и ухожу.

— Он говорил опять о птицах небесных, о лилиях долин. Но я не дослушал Его. Мне нужно было чинить сети.

— Ты опять со своим недоверием, Тимофей, опять со своими странностями. Зачем ты такой?

— Мы два дня не были в море. И Учитель . . . Что бы Он ел завтра, если бы я не чинил сети?

С грустью посмотрел на него Петр.

— Он так добр к тебе, так тебя любит. А ты . . . Стыдись, Тимофей! Вспомни о лилиях долин. Когда Он говорил о них и протягивал руку к цветущим долинам,

я видел эти лилии, слышал нежный шелест их брачных одежд, слышал их ароматное, полное жизни дыхание, и бежал в страхе, бежал, боясь узнать больше, чем сказали божественные уста, боясь, что я не так понял Учителя.

— Ты не прав, Петр! Учитель . . . Ты знаешь? Я верую. Не единым хлебом жив человек, но я помню, как в субботу мы поздно возвращались в город и, голодные, срывали колосья и ели. И Учитель ел. Я верую, Петр, и я люблю Учителя; сегодня я чинил сети, и сегодня я буду в море.

И опять скользнул к морю мимо Петра рассеянным, спокойным взором.

— Пойдешь?

— Что же, я пойду, Тимофей.

И подумал: «Нужно же чем-нибудь быть полезным Учителю». И, взяв у него корзину, пошел за ним к лодке.

***

Надвигались сумерки. И не нарушали они тишины, как не нарушали ее мерно шумящие волны. Первые звезды затрепетали в далеком небе, тихие, ласковые.

— Ты вот говоришь, расскажи . . .

— Вчера я видел Его, опять плакал. Рано утром, как только спустился с гор. Он сидел на камне, на берегу. Странно. Ведь Он — Сын Божий, Царь Иудейский. Все слушают, что говорит Он, все любят Его. Что он ищет еще, о чем плачет? И лилии долин . . . Не Он ли сам сказал: «Посмотрите на птиц небесных, на лилии долин?» Не Он ли сказал: «Присоединимся к этому голубому, радостному гимну!»

И Тимофей неуклюже протянул свою грубую мо-

золистую руку туда, где в синей дымке терялись и небо и море.

— Что-то не так, Петр, что-то не так!

— Стыдись Тимофей! . . Ты знаешь, я ревновал Его к тем женщинам, которые окружают Его, я не любил их, но теперь я вижу, что они достойнее нас. Ты помнишь Марию, не ту, в черных одеждах, которую хотели побить камнями, кто входит тенью, всегда омрачая торжественное шествие Учителя.

— Ну вот, скажи — зачем Он терпит ее на Своем Светлом празднике?

— Ты опять, Тимофей? Не перебивай! Я говорю о другой Марии, глаза которой — как вот это море, бездонные, синие-синие; она в лилейных одеждах, с волосами, в которых золото заката и аромат зреющих хлебов. Она из той страны, где нет солнца, и земля бела, как саваны пустынь. Ты знаешь, что сказала она священникам, когда те кричали, что Учитель — не Мессия, что Учитель — простой человек? «Если Он простой человек, Его нужно любить еще больше. И мне жаль вас, старики, и вашего старого Иегову. На протяжении целых веков вы не сказали столько, сколько сказал сегодня Учитель. «Посмотрите на птиц небесных, на лилии долин. Сольемся в голубом радостном гимне Невидимому». Что вы дадите вместо этих прекрасных слов? Что все ваши книги и вся ваша мудрость? Я буду ходить за вами, старики, если у вас будет такая же прекрасная религия. Я пойду за вами, если и вы будете так же прекрасны, как Учитель. А пока я пойду за Учителем. Мне душно в вашем храме, на ваших тесных улицах. В огромном голубом храме Его вечно молодого, вечно прекрасного Бога мы будем слушать гимн Вселенной. Спешите, старики, за нами, спешите, пока не

поздно! Вы увидите, пожалуй, там и вашего старого Иегову . . .

Долго говорил Петр.

Глухо и чудно носились его слова над морем. То громкие, то тихие, то полные восторга или гнева, они одинаково плавно проносились, как птицы, и таяли в далекой синеве, не нарушая тишины.

Над морем витал дух Учителя.

И спускалась ночь.

Над морем тихим и спокойным.

* * *

Замолчал Петр. Он уже не чувствовал грусти и тревоги и с бесшумными птицами растворился где-то в потемневшей синеве, в тишине зачарованной ночи.

И понял он многое в ту ночь — свою силу и свою слабость, и почему образ Учителя порождает в душе смутную тревогу, и скорбь, и радость. И благословил он светлый образ Марии, когда-то мелькнувший перед ним.

«Она первая увидит Учителя, когда Он явится снова на землю»! . .

Тимофей молча тянул сети, зачарованный тишиной.

Вздрогнул Петр. Что это?

Озаренный серебристым лучом, легко переступая над водой, проходил куда-то Учитель. Мира и тишины исполненны были черты Его, как всегда, прекрасного лица. Но на этот раз что-то неземное было в Его чертах, что-то нездешнее в Его движениях.

Не удивился Петр, увидев учителя. Он всегда чувствовал, что дух Его витает всюду. Но смутная тревога опять овладела им.

«Куда идет Он? Что ищет?»

И сердце больно забилось, бессильное понять, одинокое в этой ночи. И захотелось громко окликнуть: «Учитель!» — и спросить . . .

Но выглянула луна, и в ее свете, как чудное видение, исчез Учитель.

Тихо льются волшебные лучи луны.

Петр, тяжело дыша, с восторженно горящими глазами, как бы разбуженный от сна, шепчет странно тихо:

— Тимофей, ты видел Его?

— Тяни сети, Петр, ты упустишь сети! . .

ПОКИНЬТЕ СЕТИ

— « . . . Идите за Мною» . . . — И они тотчас последовали за ним.
(Евангелие от Матфея, гл. 4, стр. 19)

Андрей и Симон жили и не знали Кто им дарует счастье и покой — ходили в море, рыбой промышляли. Чинили снасти опытной рукой.

А это было утром. На рассвете — склонился Кто-то над волной, и говорит: «Оставьте сети, вас ожидает лов иной!» Они пошли, бросая сети . . . И от сомнений далеки! О, как прекрасны строки эти: ведь свет, возникший в Назарете, несут простые рыбаки. Но рыбаки и вас зовут — в пути своем остановитесь . . . Какие сети вас влекут? Покиньте сети, Отзовитесь!

СВЕТ ВО ХРИСТЕ

«Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».
(Первое послание ап. Иоанна, гл. 4, ст. 19).

В том любовь, Что не мы возлюбили Творца, а Творец возлюбил нас и Сыном прославил — свет послал . . . Этот свет — во Христе.

КРЕСТУ ТВОЕМУ

«Кресту Твоему поклоняемся Владыко, и святое Воскресение Твое— славим!»

«Совоскреснут с Христом все страдавшие с Ним . . .» Так великим постом в песнопеньях твердим: уготовили путь, их в сердцах бережем и волнуется грудь, что потом запоем: «Воскресенье Христа, воскресение всех! . .»

ПОСТОЯННО ЛЮБИТЕ

«. . . Постоянно любите друг друга от чистого сердца» . . .
(Первое соборное послание св. апостола Петра; гл. 2, ст. 22).

Постоянно любите друг друга от чистого серда, не гасите любовь и на миг.

Да не будет для вас иноверца — чтоб и дальний спасенье постиг.

МАРИЯ МАГДАЛИНА

(Мария Магдалина. *Праздник лилий долин).*

*«Посмотрите на полевые лилии,
как они растут!»*
(Евангелие от Матфея, гл. 6, ст. 28).

У святой криницы
сказала нам
одна сестрица
голубица:
«В старинных
святцах
говорится:
в день Марии
Магдалины,
у нас по долинам,
праздник Христов,
и праздник цветов.
И мы славим
святую Магдалину,
как лилию
долин!»

Мария Магдалина *часто* вспоминалась в Святом Писании. Но эти повествования кратки.

Она принадлежала к числу святых подруг, жен мироносиц, сопутствовавших Христу. Но ни одна из них не любила Его столько и не была предана Ему так, как Мария Магдалина.

По вере Христовой, Мария трудилась в благовестии подобно апостолам. И потому Святая Церковь назвала ее равноапостольной.

Евангелист Иван Богослов упоминает Сусанну, а евангелист Лука, врач и живописец, имевший доступ к высоким особам, свидетельствует о супруге Хуза, министра двора царя Ирода, именовавшейся Иоанной (что по-еврейски означает благодать Божия). Святая Церковь почитает их святыми и в неделю, посвященную женам мироносицам, чтит их святую память. Кроме них, были и другие женщины.

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, живший в конце третьего столетия нашего летоисчисления, научает нас, что между иудейским народом был обычай, по которому люди, посвятившие себя проповеди, брали с собой в странствия некоторых благочестивых женщин, следовавших за ними. Христос, не имея, где главу преклонить, шел из града в град, из селения в селение, проплывал моря и реки, восходил на горы, углублялся в пустыни.

И Мария Магдалина почти всегда следовала за Ним, усердно служа Ему имением, делами рук своих и всем своим существом.

Она, скромно или восторженно, в какой-то степени разделяла и Его славу. А если Его оскорбляли, чувствовала и себя оскорбленной.

Мария следовала за Ним на Голгофу, в Его крестном пути. С трепетом взирала на Его распятие. Но потом, забыв всякий страх и повинуясь только зову своего сердца, приблизилась к своему кресту Христову.

Увы мне, Господи Христе,
Тебя я вижу на кресте.

Она сострадала Божественному Страдальцу в тяж-

кие минуты Его смерти и приняла последний вздох Его в свое сердце. Так любила она Спасителя:

Не могу я
О ней умолчать
Не могу я
Ее передать
И могу
Лишь одно прошептать:
Ликованья
Во мне благодать —
Я ликую с Христом,
Во Христе...
Дивный свет
Я узрела в Кресте.

Ее любовь, по словам Святого Писания, была крепка, как смерть. Но нет, любовь Марии к Иисусу Христу была крепче смерти, ибо не ослабела и по смерти Его.

Она видела, как Иосиф Аримафейский и Никодим, тайный ученик Христов, снимали Пречистое тело Иисуса. Она сопровождала Его на место погребения, она смотрела, где и как Его полагали.

Ужаснись и трепещи небо,
Сотряситесь основания земли:
Тот, Кто тленным не был,
Тот, Кто в вышних живет,
Полагается в гроб.
Зиждителя погребаем,
Начальника жизни сей...

Если сама Мария не принимала деятельного участия в Его погребении, то это, без сомнения, произошло не от недостатка ее любви, но от чрезмерной скорби и усталости, которые так истощили ее силы, что она, по замечанию евангелиста, не могла стоять, а сидела против гроба. Впрочем, при видимом бездействии, во время по-

гребения Спасителя, Мария мысленно стремилась туда, где полагали Его.

Она заметила, что Иосиф Аримафейский и Никодим, поспешая кончить погребение Иисуса, только обвили тело Его пеленами и осыпали благовониями. А не помазали ароматами, как это бывало при иудейских погребениях.

И она немедленно решилась восполнить это упущение погребальных обыкновений, принятых на Востоке. И вместе с тем оказать умершему Учителю последний долг усердия.

Возвратившись с этой мыслью домой, вскорости, как только позволили обстоятельства, Магдалина купила разных ароматов.

И на другой день, рано поутру, еще в сущей тьме, поспешила к гробу. С нею были и другие мироносицы.

Мрак ночи, уединенное положение Гроба Господня в саду Иосифа Аримафейского, близость к нему страшной Голгофы — ничто не могло удержать благочестивых женщин.

Вдруг вспомнили, что вход в него закрыт большими камнями, и потому с недоумением вопрошали себя:

«Кто отвалит нам камень от дверей гроба?»
Камень тяжелый при гробе
Стража не спит, сторожит . . .
В страхе, но все еще в злобе,
Где-то Иуда бежит . . .

Между тем, камень был уже отвален ангелом, сошедшим с небес по воскресению Спасителя. Они этого не знали и, войдя в гробницу и не нашедши в ней тела Христова, пришли в еще большее уныние.

В горе Мария Магдалина стояла у гроба. И вдруг решила еще посмотреть, нет ли в гробнице где-нибудь

тела Иисусова. Но, проникши в гробницу, она увидела двух ангелов, которые спросили ее:

«Что ты плачешь, Мария?»

Она же ответила:

«Взяли Господа моего, и не ведаю, где положили Его!»

Сказавши это, обратилась назад.

Встал и пошел Жизнедавец
Сад расступился пред Ним,
Камни, пещеры и гравий . . .

Мария увидела Христа, но не узнала Его, вероятно, потому, что, по скромности и унынию, не посмотрела Ему в лицо. Она приняла Его за садовника и спросила:

«Ты не знаешь, где положили Господа? Я возьму Его!»

Иисус же назвал ее по имени: «Мария!»

Услышав знакомый голос, Мария Магдалина радостно воскликнула: «Учитель!» И бросилась к Нему, но Он исчез, сказав:

«Я еще не был у Отца Моего. Иди к братии Моей и скажи, что Я жив!»

Да, Он явил Себя живым,
По воскресении Своем . . .

Мария Магдалина сделалась первой благовестницей воскресения Христова. С тех пор начались ее вечные странствия во имя Его. Мы видим ее в городе Эфесе, с Божией Матерью и апостолом и евангелистом Иоанном Богословом.

Там она, одно время, жила в вертепе, в котором значительно позже, под невидимым ее покровом, почивали семь отроков эфесских, подтвердившие своим трехсотлетним сном и пробуждением истину воскресения. Святая Церковь ежегодно и поныне вспоминает их.

После мы видим Марию Магладину путешествую-

щей в Рим. Здесь она нашла доступ к самому кесарю Тиверию и своей беседой с ним расположила его к христианам, и первым христианам на некоторое время стало легче жить.

Может быть, на это путешествие Магдалины указывает святой апостол Господень Павел, в своем апостольском послании нас извещая:

«Целуйте Мариам, много о нас потрудившуюся!»

Святое предание говорит, что Мария Магдалина ввела обычай христосования и поднесла кесарю красное пасхальное яичко, прекрасный символ возрождения к жизни. Мария Магдалина сказала Тиверию в приветствие:

«Христос Воскресе!
Неси свой крест
И пой: Христос Воскресе!»

После путешествия в Рим, мы находим ее во французском Провансе, живущей отшельницей в горной пещере.

И, наконец, мы видим ее в горах и лесах волжских и камских, в женской обители, в храме Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали», Помощницы всех скорбящих и Заступницы всех угнетенных. В пределе этого храма во ее имя, во имя Марии Магдалины, она продолжала дело Христова благовестия:

И вам принадлежит обетованье,
И дольним всем —
Кого ни призовет Господь.
Бессильна смерть. И даже ваша плоть
Не будет знать ни тленья ни страданья.
Во Кресте да будет ваше упованье,
А путь земной да будет во Христе.

РАДИ ВСЕХ

«...Ради всех, кто не видел лица моего в плоти...»
(Апостол Павел. Послание к Колоссянам; гл. 2, ст. 1).

Телом отсутствую Я,
И лица Моего
Вы не видите в плоти —
Духом же с вами,
И в радости
С вами вовек!

ТАЙНУ ПОЗНАЙТЕ

«...Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую...»
(Апостол Павел. Послание к Колоссянам; гл. 1, ст. 25).

Тайну познайте, века и народы! Ныне встречайте Ее торжество — пусть вам сияет из рода и в роды радостью вечной Христа Рождество.

БЛАГОВЕСТИЕ

«...Благовествованье, которое вы слышали, которое возвещено всей твари небесной».

(Апостол Павел. Послание к Колоссянам; гл. 1, ст. 23).

Всей твари поднебесной
Да будет благовестие сие...
Да будет помощью чудесной!
А ты крепись
Под ношей крестной,
Душой ликуя
В каждом дне!

КАК РАСТУТ КРЕСТЫ

Когда на обездоленную страну ложится тяжкое и страшное бремя гражданской войны, на тихих полях и кладбищах вырастают кресты. Они поднимаются то здесь, то там, как страшные и печальные цветы. Земля в такие дни не знает других цветов. В год, когда на нее падает огненный дождь, из братской крови и братских пуль, все в стране превращается в серый холодный пепел. Цветы-кресты растут под огненным ливнем гражданской войны. И чем сильнее идет этот опаляющий ливень, тем больше вырастает в стране крестов.

Среди бесчисленного множества этих крестов есть кресты, которые поднимаются тайно... Никто не видит, кто сеет их, и посев таких крестов считается преступлением. За него наказывают. Почему это так и отчего тайные кресты и тяжкие налагаемые за них наказания — на это отвечает безумная логика гражданской войны и революции и связанные с ними насилия.

Это одно из тех противоречий здравому смыслу, закону любви и милосердия, принципам свободы, какие бывают только во время войны и революции. Эти противоречия появляются словно уродливые привидения, делая страну похожей на завоеванную жестокими завоевателями, утратившими образ и подобие человеческое.

Если вы хотите знать, как растут эти тайные кресты в Совдепии, я покажу вам темной ночью на пустынной городской окраине маленькую комнату с плотно закрытыми ставнями.

В комнате двое людей, старик и женщина. Старик вытесывает из двух поленьев простой сосновый крест и наскоро грубо сколачивает его. Потом муслит карандаш и закорузлыми пальцами выводит каракули: «Вьюноша рап Божи Сергей умученый». Женщина сидит неподвижно на скамье.

И вся ее фигура говорит о безмолвном и неизмеримом страдании.

— Готово; — говорит старик и с усилием выпрямляется. — Давайте, Ольга Александровна, я снесу.

— Нет, Авдеев, — тихо возражает скорбная женщина. — Я сама.

— Ну, — хоть помогу.

— Не надо помогать. Тебя поймают. Тебе тогда будет плохо. Я не хочу, чтобы и тебя убивали.

— А если схватят тебя?

Женщина горько усмехается.

— Что они мне сделают. Я — мать.

Она накидывает на голову черный платок и выходит, осторожно оглядываясь, на улицу. Там темно, — словно весь Божий мир покрыт таким же черным траурным платком. Осторожно, чуть-чуть переступая по подмороженной грязи, женщина идет по улице. Она с трудом несет на плечах только что сколоченный соседом деревянный крест.

Ей тяжело, больно; крест давит ей шею и спину и словно прижимает ее всю к земле, к той земле, куда положили ее сына. Но эти страдания, причиняемые крестом, облегчают то главное, всеобъемлющее страдание, которое легло нынче на ее материнское сердце и в один день состарило ее на десять лет.

И ей кажется, что если она сама донесет крест до могилы расстрелянного сына, то будет легче ей, и сыну. Быть может, тогда ей будет легче нести и тот дру-

гой, тяжкий и великий, незримый, крест, наложенный на нее страшным несчастьем.

Темно на улице. Люди прячутся в домах, чтобы не попадаться на глаза советскому начальству и «товарищам», полонившим город. Горожанам запрещено выходить по ночам из дома, но они и сами боятся выходить. Им запрещено покупать керосин и свечи, потому что керосин и свечи нужны комиссарам и товарищам. Но горожане и без того не зажигают огня, а у кого есть огонь, те крепко запирают ставни. И в маленьких лачугах предместья и в больших домах на главной улице, из числа тех, которые еще не заняты под комиссарские квартиры, — одинаково царят ненависть, отчаяние, ужас и тьма.

По городу бродит изо дня в день смерть. Опьяневшие от крови патрули красной армии всякого кто покажется им опасным или просто непочтительным, тащат в комиссариат. А оттуда — в чрезвычайку. А чрезвычайка всех приговаривает к расстрелу или повешению. Казненных зарывают на старом кладбище или где-нибудь на задворках, потихоньку. И никто из горожан не смеет разыскивать эти тайные могилы и ставить над ними кресты. По приказу коменданта, это запрещено под страхом смертной казни. Но кресты все-таки вырастают.

Началось это безумие с того времени, когда толпа городских подростков пыталась разгромить лавки, в которых продавались всевозможные товары, но только не для голодающих горожан, а для товарищей и их комиссаров. И вот с той поры большевики стали хватать и казнить встречного и поперечного.

Женщина-мать идет с крестом по темной улице, чутко прислушиваясь, — не прозвучат ли шаги патру-

ля. На улице темно, как в могиле, но она уверенно идет в темноте. Она хорошо знает дорогу к старому кладбищу. Кто в городе не знает теперь дорогу туда.

Она идет, а черные мысли вьются над ней и летят впереди нее, как черные вороны. Она думает:

«Мой Сережа не бунтовал и не громил лавок. Он сидел тогда дома. За что же его схватили и расстреляли?»

И отвечает сама себе:

«Только за то, что он потом на улице сказал: «Теперь все будем сыты» и громко рассмеялся. Разве это преступление? Разве за это нужно было убить моего мальчика?»

Рыдания подступают к горлу. Но плакать нельзя. От плача обессилеешь и не сможешь донести креста и поставить его. Да и тишина встрепенется от материнских рыданий, предательская тишина, готовая выдать большевикам каждую тайну закабаленных.

Матери, несущей крест, уже чудятся разговоры товарищей, слышатся тяжелые шаги. Нельзя не только плакать, даже вздыхать нельзя. В ночной тишине будет услышан каждый вздох. Надо притаиться, застыть, замереть телом и душой, чтобы только исполнить святое, непреложное дело, — поставить крест на могиле сына.

Вот и кладбище.

Старая, каменная, изъеденная временем стена смутно белеет во мраке. Давно уже никого не хоронили здесь на старом погосте. Но теперь он полон новых гостей. В стране не хватает кладбищ так, как не хватает гостиниц в бойком городе во время ярмарки. Спотыкаясь о свежие холмы могил, почти падая под своей ношей, мать идет вглубь кладбища туда, где похоронили последних казненных.

Добрые люди есть и в стане большевиков: из уст в уста донеслось до нее точное указание, где именно похоронили ее сына, и тьма покрывает ее своим покровом. И никто не видит, и никто не знает, сколько здесь пролито слез ... и как убивалась она в безысходной, неописуемой тоске, прежде чем на могиле вырос первый свежий крест ...

— Стой! Держи!

Темнота предательски расступилась. Засияли фонари, и в их блеске мелькнули винтовки патруля.

— Ты что тут делаешь, старуха?

Несколько человек окружило женщину. Ее грубо схватили. Толстый красноармеец, как видно из грузчиков, начальник патруля, ударил ее по шее.

— Разве ты не знаешь, что это не полагается? Старая ведьма? Связать ей руки!

И вот мать казненного связана: платок сорван с ее головы. И в ночной темноте, которую с трудом одолевают фонари патруля, ее ведут в комиссариат.

На другой день она уже стоит перед следователем.

Агенты и комиссары сидят за длинным столом в зале старинного дома, — это чрезвычайка.

— Ты обвиняешься в нарушении приказания коменданта, — говорит хриплым голосом следователь. — Признаешь себя виноватой?

Старуха молчит. Что ей сказать в ответ? Все равно, эти безбожники, не признающие святости креста и важности материнского долга и материнской скорби, не поймут ее слов. Им непонятен язык милости, любви и материнства.

— Ты не хочешь отвечать? Ну, в таком случае мы обойдемся и без твоих объяснений.

Потом в совещательной комнате председатель чрезвычайки говорил:

— Она из интеллигентных. Эти прихвостни буржуазии упорны и злы. Им надо задать хорошую острастку, раз и навсегда.

В ту же ночь старуху ведут на казнь. Она идет спокойно и думает: «Слава Богу, что я успела поставить крест на его могилке. Все же будут знать, где лежит сынок и какою смертью умер. И Ангелы найдут его в день Воскресения».

«А как же я-то? — вдруг проносится в ее голове, затуманенной страданием. — Неужели у меня не будет креста на могиле . . .»

На другой день старик Авдеев, тот самый, что делал крест Сережи, крадется, прихрамывая, в темноту по улице к старому кладбищу; у него за плечами новый крест.

«Упокой, Господи, ее душу», — думает он. И никакой другой мысли у него в голове нет. Ни страха, ни заботы, ни думы о том, что он может попасть в руки товарищей. Он боится только не найти могилы старушки.

Но он найдет ее . . . И новый крест вырастает на тайной могиле, свежий беленький крест из сосновых поленьев.

Так растут кресты в стране крестов, в стране, попранной насилием и залитой братской кровью. Будет время, из этих крестов вырастет новая жизнь, краше и ярче бывшей жизни.

Кресты превратятся в цветы, и цветы осенят исстрадавшуюся Русь прекрасным ореолом любви и милосердия в воздаяние за претерпенные и неслыханные муки . . .

НА ПЕПЕЛИЩАХ

Поля, что большевистской затоптаны ордой, ромашкой, васильками засеет Бог весной. Взойдут густые травы над трупами солдат и снова косы наши по лугу заблестят. Ложась под взмахом лезвий в широкие венки, поклонятся солдатам ромашки, васильки. Поклонятся им низко могилы окружив, от наших взрытых пастбищ, от наших смятых нив.

Дом, что бандит разграбил и наступая сжег, отстроить понемногу благой поможет Бог. Пожарища омоет дождей весенних мгла, забегает рубанок и запоет пила. Забыв былые скорби, веселье, счастье, смех — все принесем с собою под выступ новых стрех. Храня родной обычай, для гостя у ворот поставим стол под липой, на стол сыченый мед. И путнику чужому поведаем крестясь, что Мать-Русь не погибла, что добр Бог у нас.

1921.

КРОВАВЫЙ КРЕСТ

ВЕЛИКИЙ ИСХОД

(Из воспоминаний о прошлом)

Это для нас такой исход был великим

Великий своим страданием и недоумением: — зачем идем, куда идем?

Это была «маленькая» трагедия всего около двадцати тысяч людей, включая всяческие штабы, учреждения, богодельни, тыловиков и прочее, которое когда-то император Петр Великий, в своем приказе определил одним кратким, но веским словом . . .

В сущности даже, это была трагедия «маленькой» кучки фронтовиков, в несколько тысяч человек, противостоявшей многомиллионной, разъяренной всякими революциями и войнами, обшарпанной, безликой стране.

Трагедия, как потом оказалось, завершившая все гражданские распри, происходившие по периферям московской Совдепии, выставившей против нас даже китайцев.

Когда мы спрашивали пленных: «Зачем вы с нами сражались?», они щурили свои косые глазки и лепетали, мило улыбаясь: «За родная Кубаня!»

Мы их не трогали . . .

Но повествую дальше. С нами, с крымских лазурных берегов, уходили остатки Старой Былой России, навсегда ушедшей в века.

Сколько же было их, этих остатков, когда мы прибыли во святой град царя Константина, прибивать свой щит? Тысяч сто двадцать!

Откуда взялись они, эти остатки, эти тысячи и тысячи, не считая тех, которые явились под видом различнейших эвакуаций в Священный град, до нашего прибытия? Неведомо!

Кажется, это была часть населения маленького призрачного врангелевского государства, состоявшего из Северной Таврии и Крыма, без главы, но с главнокомандующим, не желавшая ни с кем и ни за кого сражаться.

И в ней некий процент этой старой былой России просочившейся вкрапившейся в наши уже нестройные ряды. И тоже, как-то бочком, бочком уклонявшейся от чего-то.

«И пойдете вы солнцем палимые, проклинаемые всеми!»

Когда-то, в далеком детстве, я прочел где-то эти страшные, но все же святые слова. Может быть в святой Библии.

И мы шли, шли... Помню, перед вступлением в Крым, по широкой увалистой долине, куда ни глянешь, в несколько рядов, тянутся вереницы наших подвод, с людьми и всяким скарбом, облепленные пешеходами.

Некоторые пешеходы, наконец, отстают, присаживаются у дороги, положив, так сказать «свои ризы» и «всякие попечения». Отдохнуть? Здесь остаться? Вернуться назад? Куда?

А перед нами, багровое солнце на склоне дня, с огромным, в полнеба, *кровавым крестом на стальном, темно-синем, почти ночном небе.* Мы все его видели. Солнце нас не жгло, не палило. Несло от него холодом ран-

ней небывалой зимы. А мы, больные, голодные, разутые, раздетые думали об «отдаленных очагах европейской культуры», о которых сами же, видимо для себя, наивно писали в своих официальных воззваниях.

«Мы, такие «некультурные» нужны были ей, этой культуре?» — недоумевая спрашивали мы друг у друга. И друг другу отвечали: «Там, в неизвестной дали, ждет нас вот этот крест!»

И горько друг другу улыбались, глядя на предостерегающий грозный крест, в настороживщемся сурово молчаливом небе.

Так и случилос! Заключаю я с той же горестью свой рассказ-воспоминие.

Но мы тоже говорили: «Воспрянем духом! И всё преодолеем — все беды, данные нам знаменем страдальческого креста!

1920 г.

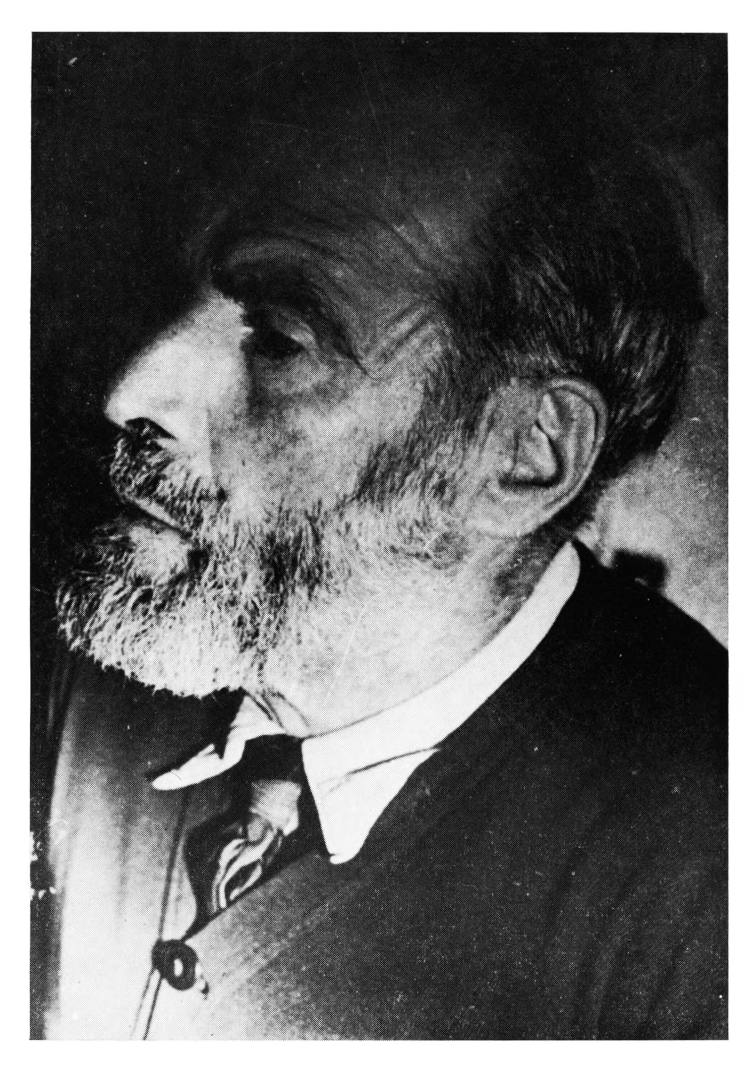
ЕДИНЫЙ ПУТЬ

В противоречьях наших дней, у нас одно святое знамя: Ты пострадавший за людей, Ты распинаемый и нами. Непревзойденный Твой завет любви, прощенья, сostраданья, вот высшее на свете знанье, — единый путь . . . Иного нет!

КРЕСТ ПОБЕЖДАЮЩИЙ

Вы на распятие молитесь
Раной Его исцелитесь,
Он за грехи наши
Тело святое вознес,
Умер на древе —
Древо сие:
Смерть побеждающий крест!

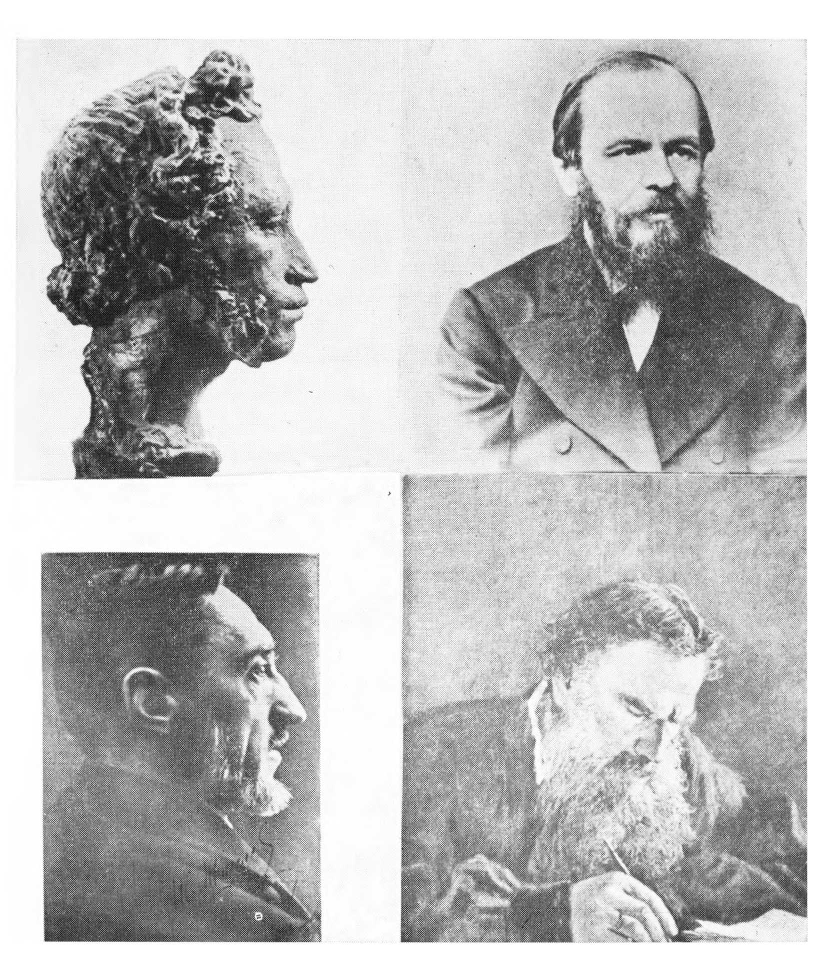
И ты неси свой крест
И пой: Христос Воскрес!



Ив. Новгород-Северский (1968 г.)

Часть II

Из Великого прошлого



Из великого прошлого: Пушкин, Достоевский, Толстой и Шмелев

ТРИ МОЛИТВЫ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

«В изгнаньи, в горести в разлуке,
Москва, как жаждал я тебя,
Святая родина моя . . .»

Даже наиболее возвышенные страницы Корана, в которые углубляется поэт, настраивают его лиру на величественные религиозно-молитвенные мотивы.

«Творцу молитесь! Он могучий;
Он правит ветром в знойный день,
На небо посылает тучи;
Дает земле древесну сень».

С Тобою древле, о, Всесильный,
Могучий состязаться мнил,
Безумной гордостью обильный;
Но Ты, Господь, его смирил».

(«Подражание Корану»)

Но особенно его сердцу были близки, конечно, наши вдохновенные, проникновенные, православные молитвы, по его собственному признанию «умиляющие» его душу.

Такова, особенно, великопостная молитва Ефрема Сирина, этого певца покаяния, и величайшая из всех

других «Молитва Господня». Ту и другую он воплотил в высоких, вдохновенных стихах.

Поэтическое переложение первой мы все изучали с дества. Гораздо менее известна художественная одежда, в какую поэт попытался облечь вторую.

«Отец людей. Отец небесный,
Да имя вечное Твое
Святится нашими устами,
Да придет Царствие Твое.
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли,
Насущный хлеб нам ниспошли
Твоею щедрою рукою.
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтоженых пред Тобою,
Прости, Отец, Твоих детей.
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
Избави нас».

Сохранив почти неприкосновенным весь канонический текст этой евангельской молитвы, Пушкин сумел передать здесь и самый ее дух, как мольбы детей, с доверием и любовью, обращавших свой взор из этой земной юдоли к Всеблагому своему небесному Отцу. Эти строки можно найти в книжке митрополита Анастасия, вышедшей в Белграде, в 1939 году.

Со своей стороны я хочу добавить полностью и великопостную молитву Ефрема Сирина.

«Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого Поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего свежит неведомою силой:
«Владыка дней моих! дух праздности унылой.
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей;
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи».

Это стихотворение было написано Александром Сергеевичем Пушкиным в 1836 году, двадцать второго июля, в день равноапостольной Марии Магдалины, первой вестницы Христова Воскресения.

СЕЛО КАМЕНКА

« . . . На реке Тясмин
Цветет жасмин.
Стоит Каменка,
Селенье праведное,
Пламенное . . . »

Село Каменка, с 1956 года, стало называться городом. Ныне это центр Каменского района Черкасской области. На реке Тясмин, притоке Днепра.

Каменка, в то же время, является железнодорожной станцией. В ней свыше одиннадцати тысяч жителей. Есть машиностроительный, сахарный, спиртовый и маслодельный заводы. А также литературно-мемориальный музей А. С. Пушкина и П. И. Чайковского, посещавших селенье Каменку.

Сохранилась усадьба В. Л. Давыдова, где в двадцатых годах девятнадцатого столетия собирались члены южного общества декабристов.

Вспоминается ответ Александра Сергеевича Пушкина Александру Львовичу Давыдову, на приглашенье ехать с ним морем на полуденный берег Крыма. Относится это к 1824 году.

«Нельзя, мой толстый Аристипп:
Хоть я люблю твои беседы,
Твой милый нрав, твой милый хрип,
Твой вкус и жирные обеды;
Но не могу с тобою плыть
К брегам полуденной Тавриды.
Прошу меня не позабыть,
Любимец Вакха и Киприды!
Когда чахоточный отец
Немного тощей Энеиды
Пускался к морю наконец,
Ему Гораций, умный льстец,
Прислал торжественную оду,
Где другу Августов певец
Сулил хорошую погоду.
Но льстивых од я не пишу;
Ты не в чахотке, слава Богу:
У неба я тебе прошу
Лишь аппетита на дорогу».

Самому Василию Львовичу Давыдову, хозяину Каменки, в 1821 году, Александр Сергеевич Пушкин посвятил следующие строки.

«Меж тем, как генерал Орлов —
Обритый рекрут Гименея,
Священной страстью пламенея,
Под меру подойти готов: —
Меж тем, как ты, проказник умной,

Проводишь ночь в беседе шумной,
За ужином с бутылками Аи
Сидят Раевские мои —
Когда везде весна младая
С улыбкой распустила грязь,
И с горя на брегах Дуная
Бунтует наш безрукой князь . . .
Тебя, Раевских и Орлова
И память Каменки любя,
Хочу сказать тебе два слова . . .
Я стал умен и лицемерю —
Пощусь, молюсь и твердо верю,
Что Бог простит мои грехи,
Как государь мои стихи.
Говеет Инзов, и намедни —
Я променял Вольтера бредни
И лиру, грешный дар судьбы,
На часослов и на обедни,
Да на сушёные грибы . . .»

В селе Каменке Александром Сергеевичем было написано несколько стихотворений. Сохранился стихотворный отрывок, относящийся к 1890 году, «Нереида».

«Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть . . .»

Это, как бы, мысленное посещение Тавриды на предложение Александра Львовича Давыдова отправиться к ее светлым берегам.

В Каменке же Пушкин написал романс «Вечерняя звезда», начинающийся словами: «Редеет облаков летучая гряда».

ПРАЗДНИК ПУШКИНА

Десятое июля, день положения честныя ризы Господа нашего, Иисуса Христа, в Москве в 1625 году, на двенадцатый год царствования Михаила Феодоровича Романова. В роде бояр Пушкиных, с незапамятных времен, хранилась металлическая ладонка, с довольно грубо гравированным в ней Всевидящим Оком и наглухо заключенной в ней частицей ризы Господней. Она — обязательное достояние старшего сына и ему вменяется в обязательство десятого июля, в день праздника Положения Риз — служить пред этой святыней молебен.

Пушкин всю жизнь свою это исполнял и завещал жене соблюдать то же самое, а когда наступит время, вручить ее старшему сыну, взяв с него обещание никогда не уклоняться от семейного обета.

Эти строки отмечены митрополитом Анастасием в его книжке, озаглавленной: «Пушкин в его отношении к религии и православной церкви».

Высокопреосвященный Владыка приводит это как факт, со слов писателя Викентия Викентьевича Вересаева, выпустившего две книги о Пушкине: «Пушкин в жизни» (1926—1927 гг.) и «Спутники Пушкина» (1934—1936 гг.).

Книжка Владыки Анастасия вышла в Белграде, в 1939 году, и является редким изданием.

Я пользовался экземпляром этой книжки из библиотеки Ивана Сергеевича Шмелева, на коей была подпись Владыки и поставлена дата: 1939, 7/20 августа.

Владыка собственноручно написал на внутренней стороне первой страницы обложки стихи Пушкина:

«Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,

Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нем отозвалось!..»

Дальше были строки уже относящиеся к писателю Шмелеву:

«Вдохновенному поэту староблагочестивой Москвы, не перестающему черпать для нас уроки жизненной мудрости из ее народного быта и износить новые перлы из сокровищниц ее выразительного, художественного и музыкального языка.

С душевным почтением и любовью приносит автор». (Надо понимать: сей труд, то есть книжку о Пушкине).

Роднит меня книжка Владыки Анастасия с Москвой, а через нее и с великим отечеством нашим. А также с Пушкиным... И со Шмелевым, предвещавшим всему миру лето Господне благоприятное.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

«. . . мальчик Федя,
ты Христов,
и уйдешь
под Отчий кров,
к Господу предстанешь,
грешных нас
помянешь . . .»

С детских лет мы все помним неповторимый рассказ Федора Михайловича «Мальчик у Христа на елке».

Но не все знаем о Рождественском Сочельнике самого писателя.

В книге «О Достоевском», изданной архивом-музеем, хранимым Ю. А. Кутыриной, Иван Сергеевич Шмелев писал:

«После разрешения свидания с братом, в Рождественский Сочельник, за несколько часов до отправки на каторгу, Достоевского заковали в кандалы.

Ровно в двенадцать часов ночи, — писал он брату, — то есть ровно в Рождество. В кандалах было фунтов десять, и ходить чрезвычайно неудобно. Затем нас посадили в открытые сани, каждого особо, с жандармом, и на четырех санях, — фельдфебель впереди — мы отправились из Петербурга».

Улицы были освещены, в окнах горели елки. Проехали как раз мимо квартиры брата, в том доме, где

жил редактор-журналист Краевский. У Краевского была елка, и на ней веселились дети брата Достоевского, о чем он знал в разговоре последнего свидания.

«Я как будто простился с детенками . . .», писал он.

Ночь глухая, трескучий мороз, впереди темная Сибирь.

«Я промерзал до сердца . . .» — «Грустна была минута переезда через Урал». Лошади и кибитки завязли в сугробах, была метель. Мы вышли из повозок, — это было ночью, — и, стоя, ожидали, покамест вытащат повозки. Кругом снег, метель, граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, позади все прошлое, — грустно было, и меня прошибли слезы . . .»

Через восемнадцать дней были в Тобольске. Тут жена ссыльного декабриста Фон-Визина подарила Достоевскому маленькое Евангелие. Достоевский хранил его под подушкой четыре года каторги. Ровно через месяц по выезде из Петербурга он прибыл в Омскую каторжную тюрьму, двадцать третьего января 1850 года.

Каторга изображена Достоевским в романе «Записки из Мертвого Дома», — то роман-автобиография, — подлинный ад, беспросветный ужас . . . и свет. Описание каторжной бани затмит все ужасы дантовского «Ада». В этом живом аду Достоевскому каждый миг угрожала насильственная смерть от каторжан, люто ненавидевших бывших бар, даже в «аду» оставшихся для них «барами».

Но, не взирая на всё, в этом аду был свет, в этом аду был Христос! Здесь впервые увидел Его Достоевский, почувствовал в каторжных сердцах и вынес Его с собой из каторжного ада. Впервые, в этом аду, нашел подлинный народ . . .

О своем «воскресении из мертвых» он так свидетельствует в письме к Н. Д. Фон-Визиной: «. . . Я сложил

себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но, с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше бы хотелось остаться с Христом, нежели с истиной».

Семнадцатого февраля 1954 года Достоевский вышел из Омской каторжной тюрьмы

Об этом важнейшем событии своей жизни он пишет своему брату: «. . . Кандалы упали. Я поднял их. Мне хотелось подержать их в руке, взглянуть на них в последний раз . . .

— Ну, с Богом! С Богом! — вдруг заговорили арестанты отрывистыми, грубыми, но как будто чем-то довольными голосами».

В этом отрывисто-грубоватом и торопящем «с Богом!» слышится: как бы не опомнилось, не воротилось «кандальное». В этом — страстное сокровенное выражение жажды свободы, воли, хотя бы для другого, хотя бы для врага.

Где же тут налганное на русский народ, что он не понимает свободы и не любит ее, не дорожит ею? что он и у других народов хотел бы отнять ее? . .

Из каторги Ф. М. Достоевский был тотчас же переслан в Семипалатинск, в глухой сибирский городишко, в гарнизон, в солдаты. Теперь начинается новая «голгофа», томление полного душевного одиночества, бессрочного. К счастью, он неожиданно встретил будущего друга: как раз в 1854 году в Семипалатинск прибыл из Петербурга новый окружной прокурор, барон Врангель. Он знал Достоевского по роману «Бедные люди» и привез ему посылку и письма. Скоро они стали дру-

зьями, совершали прогулки, ловили рыбу, укладывались вечерами на траве, на берегу реки, созерцали полное звезд небо.

Достоевский, по письмам барона Врангеля своему отцу, — «весьма набожный, болезненный, воли железной».

Созерцание небесного свода, по словам Достоевского, «наводило на нас какое-то умиление, сознание нашего ничтожества, как-то смиряло наш дух».

Барон Врангель ввел своего друга в дом военного губернатора, а что было особенно важно — познакомил с семейством батальонного командира.

В Семипалатинске Федор Михайлович встретился со своей будущей женой, Исаевой . . .

Вот вам рождественский рассказ, в котором сам Федор Михайлович превратился в мальчика у Христа на елке, перевалив через суровый снежный Урал. «И в Сибири люди живут . . .», сказал доктор Антон Павлович Чехов, вложив эти слова в уста перевозчика с угрюмой сибирской реки: живут!

В захолустном сибирском городишке, тоже на реке, открылось Федору Михайловичу небо, как сказал бы Чехов: «всё в алмазах!»

Небо умиляло писателя, но, созерцая небесный свод, Достоевский сознавал наше всеобщее ничтожество в сравнении с величием вселенной.

Писатель несколько напоминает псалмопевца Давида, в одном из псалмов своих воспевшего:

«Когда взираю я на небеса Твои . . . на луну и звезды, которые Ты поставил, то что *есть* человек, что Ты помнишь его? . .»

Живя в Омске, я учился в механико-техническом училище императора Александра Третьего. В мое время в этом старинном городе с казачьей земляной кре-

постью и быстрым Иртышем, мчащимся, как борзый степной конь в неведомые дали, бережно хранилась память о писателе Достоевском.

Особенно бережно она хранилась в нашем училище, так как Федор Михайлович был воспитанником военно-инженерного училища. Впоследствии ставший инженер-поручиком Достоевским!

Помню первую международную выставку в Омске, а также технические торжества. И среди них приезд в Омск генерала Ферье, отца французского радио!

Когда я сам служил солдатом в Ачинском военном городке, посетил нас из Омской тюрьмы хор каторжан, исполнявший под аккомпанимент кандалов множество арестантских песен. В том числе «Песню колодников», написанную в 1876 году графом Алексеем Константиновичем Толстым, правнуком последнего украинского гетмана, графа Кирилла Григорьевича Разумовского.

«Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль —
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль.
Идут они с бритыми лбами,
Шагают вперед тяжело,
Угрюмые сдвинули брови,
На сердце раздумье легло» . . .

На реке Чулыме, в Ачинской лесостепи, примыкающей к острогам Кузнецкого Алатау золотых гор, и Восточных Саянах, песнь эта неслась особенно звонко.

Один из участников хора был загримирован под Достоевского. Он вышел в офицерской шинели с погонами . . . и в кандалах!

Начальник гарнизона, суровый, строгий полковник, долго не разрешал его выпустить на сцену. Но потом махнул рукой:

— Эх, дуй вас горой! Пойте в мою голову, я отвечаю . . . Все равно, все мы здесь каторжники!

Нынче копаются здесь люди в горном хребте Алге над фосфорными удобрениями. А неподалеку в Черногорске, черные, как негры, добывают люди каменный уголь.

Но здесь уместна песнь рудокопов:

«Нам лучшей доли
не найти.
У нас подземные пути
к дороге светлой
неземной.
К мечте возвышенной
иной.
Земные дни идут,
бегут . . .
А мы в земле
прославим труд!»

ДВЕ СМЕРТИ

(Хаджи Мурат и Али Гасан)

Посвящается Александре Львовне Толстой.

Было такое время, когда и не постучатся в дверь, но очутишься Бог знает где.

Однажды, в эти тяжелые дни войны, Иван Сергеевич Шмелев и все мы, как бы предчувствуя что-то жуткое и неизбежное, в довольно поздний час легли в постели, не раздеваясь.

Надо было ждать: что принесет нам тот тихий предрассветный сумрак, когда обычно совершались многие страшные человеческие деяния?

Укладываясь в постель, я из угла, через всю нашу маленькую студию, шепнул Ивану Сергеевичу ободряющие слова:

— Не унывайте! Уныние есть грех. Будем ждать голоса зари и голоса вашего Али Гасана. Какое замечательное произведение вы написали! Как это прекрасно звучит: «Голос зари»!

Иван Сергеевич, несмотря на болезнь, усталость и подавленность духа, молодо и порывисто вскочил с постели. Зажег потушенный свет и сел к своему убогому письменному столу. Был адский холод, и Иван Сергеевич накинул на плечи свою старенькую шубейку, а на ботинки натянул самодельные валенки.

Потянулся к божничке, где робко мерцала лампадка, а внизу присторилась полка с книгами. Достал томик, потом другой и, раскрыв один из них, почти не

глядя на страничку, стал не читать, а рассказывать — память у него была замечательная.

— Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь. Помните, как у Некрасова:

Все рожь кругом, как степь живая
Ни замков, ни морей, ни гор . . .
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!
За дальним Средиземным морем,
Под небом ярче твоего,
Искал я примиренья с горем,
И не нашел я ничего! . .

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые душистые кашки. Не помню, у какого поэта я читал:

По ниве прохожу я узкою межой,
Поросшей кашкой и цепкой лебедой . . .

Молочно-белые, с яркой золотой серединой «любишь не любишь», желтая сурепка, с своим медовым запахом, лиловые и белые колокольчики. Это Алексей Толстой о них писал:

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?

Кругом настойчиво вьющиеся дикие горошки. Красные, розовые скабиозы. Лиловый с чуть розовым пушком и чуть слышным приятным запахом подорожник. Васильки, ярко-синие на солнце и в молодости, и голубые и краснеющие вечером и под старость.

Да, васильки, васильки,
Много мелькало их в поле . . .
Помнишь, до самой реки

Мы их сбирали для Оли?
Олечка бросит цветок,
В реку головку наклонит:
«Все васильки, васильки...
Мой поплывет, не утонет!»

Это стихи Апухтина. Смотрите, как трагично!

Иван Сергеевич вздохнул, вспомнил свою покойную жену Ольгу Александровну и сына Сережу. Ему он посвятил рассказ «Голос зари» — любимому сыну, канувшему в кровавую реку жизни, вместе и Микулушками Селяниновичами, Ильями Муромцами, которые просто звались Васильками. Иван Сергеевич вздохнул, посмотрел на иконы, на фотографии семьи и прошептал:

— Вечная им память!

После минуты горьких раздумий он стал продолжать:

— Вдруг по дороге, я заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей. Репей косцы старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, его выкидывают, чтоб не колоть о него руки.

Дорога дальше шла только что вспаханными черноземными полями. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения ни одной травинки: все было черно.

«Экое разрушительное существо человек! Сколько уничтожил разнообразных живых существ, для поддержания своей жизни», подумал я, невольно отыскивая что-нибудь живое среди этого мертвого черного поля. Впереди меня виднелся какой-то кустик. Когда я пололшел ближе, я узнал в кустике такой же репей.

Видно было, что весь кустик переехали колесом, и он уже после поднялся, и потому стоял боком. Но всетаки стоял — точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз, но

он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом него.

«Какая энергия и сила жизни!» подумал я. И мне вспомнилась одна давнишняя история . . .

То, что рассказывал Иван Сергеевич, было началом романа Льва Николаевича Толстого о великом своими подвигами, страданиями и страшной кончиной наибе Хаджи Мурате, сперва боровшемся вместе с Шамилем за независимость горцев, но потом враждовавшим с Шамилем.

Рассказ Ивана Сергеевича был с некоторыми отступлениями, ничуть не мешавшими главной нити происходившего.

Иван Сергеевич положил книжку на свой голый дощатый, весь в занозах, писменный столик и сказал:

— Вот лежит наиб! Это было давно и в то же время недавно, как будто бы вчера, сегодня. О чем мечтал Хаджи Мурат? О соперничестве с Шамилем? Шамиль был и святой, и ученый, и джигит.

Как они жили оба? Как и теперь все люди живут! Прав был хан Магома, сказавший:

«В давние времена, когда имамом был не Шамиль, а Мансур — это был настоящий святой. И народ был другой.

Мансур ездил по аулам, и народ выходил к нему целовать полу его черкески. Каялся в грехах и клялся не делать дурного.

Старики говорили: тогда все люди жили, как святые. Не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали.

Тогда, если находили потерянные деньги или вещи, привязывали на шесты и ставили на дорогах.

Тогда и Бог давал успех во всем народу, и не так, как теперь . . .»

После этих слов, помолчав немного, Иван Сергеевич рассказал нам о смерти Хаджи Мурата:

— Враги, перебегая от куста к кусту, с гиканьем и визгом, все ближе и ближе продвигались.

Еще пуля попала Хаджи Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану.

Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим.

То видел слабого, бескровного наместника Воронцова с его хитрым белым лицом и слышал его мягкий голос. То видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное, с рыжей бородой и прищуренными глазами лицо врага своего Шамиля.

И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства. Ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него.

Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил. Потом он совсем вылаз из канавы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам.

Раздались выстрелы, он зашатался и упал. Несколько человек с торжествующим визгом бросились к упавшему телу.

Но то, что им казалоь мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова. Потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь.

От так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался.

Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему Хаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем.

Это было последнее сознание его связи со своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал, и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним.

Хаджи-Ага наступил ногой на спину тела и с двух ударов отсек голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногой. Алая кровь хлынула из артерий шеи и черная из головы и залила траву.

И все, как охотники над убитым зверем, собрались над телами Хаджи Мурата и его людей. В пороховом дыму, стоявшие в кустах весело разговаривали, торжествовали свою победу.

Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один близко и потом другие на дальнем конце.

Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.

Закончив пересказ романа Л. Н. Толстого «Хаджи Мурат», Иван Сергеевич бережно положил книжку на полку, под божничку, и, обратившись к нам, произнес:

— Какую потрясающую картину дал Толстой! Только человек, сам видевший смерть, мог написать такие волнующие строки!

Иван Сергеевич взял со стола другую книжку и, не раскрывая ее, стал рассказывать.

— Вот здесь написано . . . Было это в те дни, когда дух смерти вынул из человека сердце.

Тогда люди ценили кровь ниже плохохо вина, а слезы дешевле соли.

В те дни жил человек, именем Али, по отцу Гасан. Он почитал Бога и держал закон в сердце.

В те дни старый Али любил сидеть у мечети, окончив вечернюю молитву. Думал Али о болях, посетивших тело и о теле думал: «Вот и конец близится . . . Что же остается? Что не умрет от меня, Али Гасана? И что вечно?»

И голос вечерней птицы отзывался в душе его: «Душа твоя не умрет, Али! Живая душа твоя!»

И еще вопрошал Али, помня слова Пророка: «Что есть душа моя?»

И голос звезды вечерней отзывался в его душе: «Дела твои на земле, Али! Дела по слову Закона!»

Думал еще Али: «Чего же мятутся люди и собирают тленное, если только душа бессмертна? Помутились люди, ожесточилось сердце . . .»

И голос вечерней птицы, в свете звезды вечерней, сказал ему:

«Пусть помутилось все, лишь бы осталась одна живая душа. И сохранится огонь в светильнике. Все ищут себе, а ты ничего не ищи себе. Отдай и себя!»

В ту ночь долго не спал Али, все думал:

«Как же отдать себя? Как уберечь негасимый огонь в светильнике?»

И сказал ему голос:

«Завтра услышишь по слову Пророка: «не обманет голос зари!»

Утром рано поднялся Али, — не скрипели можары, и не звенели кувшины у воды. И слышит шаги. Смотрит, идут по дороге двое: старик и мальчик. Стали перед порогом и просят:

«Хле . . . ба . . .»

Дал им Али по кусочку чурека. И заплакал мальчик. С того плача открылось замкнутое в сердце Али Гасана.

Видит, заря за горой сияет, и утренняя звезда светит на ясном небе. И ранняя птица поет знакомое:

«Али, Али! Не обманет голос зари!»

И, послушный голосу души-птицы, пошел Али на базар, вынул из кошеля, что было, и купил воз пшеницы.

Сказал ему сын Амет:

«Что же у нас останется? Какие деньги?

Ответил ему Али голосом молитвы, как говорил мулла:

«Негасимый огонь в светильнике Аллаха!»

В тот же день выменял Али турецкие лиры на пекарню. Так всю зиму торговал Али дешевым хлебом, а бедным хлеб раздавал даром.

В самый вечер его отхода из этой жизни, постучался у его дверей кто-то. Отворил дверь Амет печальный. Смотрит, стоит у порога первый богач, первый хлебник Алибабин — турок. Смутился Амет: «Что тебе надо, Хаджи?

Стал Алибабин у порога, поклонился Али, смертному его ложу. Сказал тихо:

«Селям алекюм, Али! Скажи, святой, одно слово!»

Уж не мог Али сказать слово: только сказал глазами.

Тогда присел Алибабин у порога. Трое были в пустой мазанке: Али Гасан, Амет и Алибабин. И еще был — Кого не видел ни один смертный.

Сказал Алибабин-турок:

«Отходи, Али! Отходи, святой! Нет у твоего Амета ни гроша, но твоя пекарня не погаснет. Ответь мне хоть глазами: веришь?»

И ответил ему Али слезами. Еле поднял свою отяжелевшую руку и указал на стенку. И увидел Алибабин-турок — написано на белой стенке углем по-татарски:

«Все огни земные погаснут — не угаснет огонь в светильнике Аллаха!»

Прочитал Алибабин-турок, ударил себя в грудь крепко. Пошел к жаровне, вынул из жара уголь, написал на белой стене жаром, по-турецки:

«Все пекарни в городе погаснут — не погаснет пекарня Али-Амет-Алибабин!»

И приложился губами к жару. И положил жар в жаровню.

В тихий вечер, на кладбище, за мечетью, посадили Али в сухую яму, завалили крепким камнем, поставили столбик.

И птица в тот вечер пела, и море играло бирюзой, и звезды пели песни — те песни, что слушают люди с чистым сердцем.

Слышала это вечная душа Али Гасана в небе!»

Когда Иван Сергеевич закончил свой рассказ «Голос зари», мы снова улеглись, чутко прислушиваясь к звукам, доносившимся с улицы. Изредка слышались только одинокие шаги.

Не знаю, бодрствовали ли другие, но я незаметно поддался дремоте. Во сне я видел Хаджи Мурата с окровавленной головой и утешал его:

— Не огорчайся! Меня тоже били по голове! . .

К нам подошел Шамиль, про которого моя бабушка, жившая когда-то в Калуге, рассказывала, что видела его в почетной ссылке, расхаживающим по улицам и сердобольно раздающим милостыньку. Сын его жил в Петербурге и был уже русским офицером.

Я спросил Шамиля:

— Откуда у тебя было столько денег?

— Ваш царь давал мне генеральское жалованье. А мне много не надо!

— Ты знаешь, что твой рубль у моей бабушки сохранился? — говорю я ему.

Он отвечает:

— Напрасно! Надо было отдать другим нищим!

Вдруг я увидел свою черкеску и кавказскую шашку и кинжал в витрине комиссионнного магазина и недоумевал, как они туда попали.

Спрашиваю Хаджи Мурата:

— А где твой конь?

Он долго молчал, а потом шепчет:

— Убили солдаты и съели. Ты не ешь конины, не пей вина и не кури — тогда твой конь будет твоим другом!

Я надвигаю на уши шапку, чтобы не слушать Хаджи Мурата, и думаю:

«Хорошо, что хоть шапка осталась, как у пропившегося запорожца в «Тарасе Бульбе» у Гоголя!»

Но шапки нет, у меня голая бритая голова, как у Хаджи Мурата, и шрам болит!

Мимо прошел знакомый беженец, сын наместника Воронцова, прихрамывая, опираясь на палочку. Вид у него был немощного, престарелого горца. И мне стало совестно: я вспомнил, что не раз огорчал этого милого и душевного человека.

К нам подошел Али Гасан и сказал:

— Слушайте голос зари!

Прервался сон; я проснулся, вскочил с постели и услышал стук сапогов по лестнице нашего дома. Потом стало тихо.

Это был тот жуткий предрассветный час, которого мы боялись.

ДУХОВНЫЙ ЛИК РОССИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. С. ШМЕЛЕВА

1

К роману «Человек из ресторана»

Иван Сергеевич Шмелев в своих беседах неоднократно возвращается к идее «человек», для его романа «Человек из ресторана».

Яков Софроныч, герой этого романа, говорил:

— Ну, лакей, официант . . . Что ж из того, что по назначению судьбы я — лакей? . .

Невольно возникал вопрос, какими путями, каким образом Иван Сергеевич пришел к мысли написать роман из лакейской жизни, где он стал искать «человека» в человеке из ресторана. *

Однажды, на прогулке с писателем Сергеевым-Ценским, они уселись на железнодорожной насыпи. В это время проходил скорый поезд с вагоном-рестораном.

В окно был виден лакей в белой тужурке, с белоснежной салфеткой и огромным подносом, балансирующий между столиками с грацией прима-балерины. Мелькнул в ожидательной позе над чьей-то задумчивой очаровательной головкой. И исчез призрачным видением вместе с поездом, скрывшимся за поворотом железнодорожного пути.

---

* Из личной беседы Ив. Новгород-Северского с Иваном Сергеевичем Шмелевым, о «Человеке из ресторана».

— Смотрите! — сказал Сергеев-Ценский Ивану Сергеевичу. — Вот тема «лакей в ресторане»... Взяли бы ее!

Шмелев ему ответил:

— Подумаю над ней...

Вот этот случай, эта прогулка, этот разговор, этот мелькнувший поезд и натолкнули Ивана Сергеевича на мысль о романе «Человек из ресторана», где он дает образ лакея Якова Софроныча.

Не только генералы, коммерсанты, люди обстоятельные, не только самая отборная высшая публика — профессора, ученые, но даже родной сын Колюшка и тот презрительно относился к Софронычу.

— Ты, — говорит, — исполняешь бесполезное и низкое ремесло! Кланяешься всякому прохвосту и хаму... Пятки им лижешь за полтинники!

А Колюшка и вырос на эти полтинники, которые получал Софроныч за все: и за поклоны, и за услужение разным господам — и хамам и благородным.

И брюки на нем шились на эти полтинники, и курточки. И книги куплены, которые он учил, чтобы стать человеком.

Чем утешался Яков Софроныч в своей многотрудной жизни, полной оскорблений и унижений? Утешал его Кирилл Саверьяныч, парикмахер, баки ему подправлявший для приличествующей солидности. Очень умственный человек был. Писал даже про жизнь в тетрадках. Рассказал ему про одного ученого, который сказывал: «Всякий труд честен и благороден. И словами человека замарать нельзя. Лакей есть лакей, труженик!»

Хватило сил у Софроныча проводить сына Колюшку в дальнюю дорогу — к нам в Сибирь, в ссылку.

Когда повели его городовые, выбежал во двор. Крикнул ему тогда:

— Колюша, прощай!

Метнулся на улицу. Побежал, и упал на углу, поскользнулся. И ни души, одни фонари. Поднялся, стал на уголку.

Дворник сказал:

— Ступай, ступай . . . Замерзнешь! . .

Не помнил Софроныч, как вернулся домой. Квартирант, старичок-скрипач, вернувшийся с позднего бала, сильно кашляя, утешал его:

— Иисус Христос тоже в темнице сидел!

Домашние все плакали. И Божья Матерь, при лампадке смотрела на всех, на их житье беспомощное, как бы сострадая.

Ах, как горько было! Много прошел с горем своим Софроныч. Поднимал семью, кем-то обманутую в любви дочь.

«Господь все видит! . .» утешал он себя.
Веру подкрепил незнакомый старичок, сказавший глубокое слово:

— Без Господа не проживешь!

Ответил Софроныч:

— Да и без добрых людей трудно!

А незнакомый старичок пояснил:

— Добрые-то люди имеют внутри себя силу от Господа!

И как бы осветилось для Софроныча все: «Сила от Господа! Ах, как бы легко было жить, если бы все понимали это и хранили в себе!»

В Якове Софроныче было все это. Но незнакомый старичок вновь вложил и закрепил в нем сияние правды.

Узнал он старичка по черному образку, висевшему над ним...

Яков же Софроныч являлся Ивану Сергеевичу таким же образом, живым, реальным.

Жил Софроныч в Замоскворечьи, неподалеку от него. Были они во взаимном общении. Часто склонялись над книгою, над проникновенными строками Ивана Богослова:

«Бог есть свет. И нет в Нем никакой тьмы. И Бог есть любовь! Да простит Он нам всем все наши прегрешения, вольные и невольные. И да будет на все Его Господня воля!»

Небесный покровитель Ивана Сергеевича, Иван Богослов, и внушил ему мысль так написать человека из ресторана!

2

К рассказу «Глас в нощи»

Александр Сергеевич Пушкин верил в народные приметы. Верил в них и парнишка Власка, из рассказа Ивана Сергеевича Шмелева «Глас в нощи»:

«Ох, барин, зайцы-то нам не хорошо, перестегнули, путя не будет!»

Не верил лишь собеседник Ивана Сергеевича, поведавший всю эту историю, естественник. Он вообще многому не верил, в особенности таинственному и необъяснимому.

— Наука современем все объяснит! — говорил он почти уверенно.

Но это убеждение таилось в нем до поры до времени, пока потрясающий случай помог ему «уверовать в пути неисповедимые».

Даже в зайцах, перед несчастьем перебегавших дорогу, он вдруг почуял что-то жуткое, зловещее:

— Что-то их пугало где-то...

Надо сказать, что у него скирды были на полях. Зайцы там всегда собирались под вечер, подкормиться. Тихо, миролюбиво. Что их всполошило так?

Начинался буран. А вы знаете, что такое наши бураны? Писали о них Пушкин и Аксаков, и многие другие. Стеной туча... Да какая! Как грифельная доска, в полнеба. Дышать нельзя...

Естественник чуть не погиб со своими спутниками. В дороге, которую считал легкой прогулкой. Тут он и попробовал вспомнить, как молятся. До половины только «Богородицу» знал — забыл. Стал «Отче наш» вспоминать. До «хлеба насущного» дошел, а дальше как отшибло. А из Овидия отлично помнил, мог «Фаэтон» прочесть.

Столько перемучился естественник со своими спутниками в своих странствованиях вокруг да около. Ведь совсем погибали.

Вдруг слышит сверху где-то с колокольни: «бо-омм!» И опять: «бо-омм!»

И слышит Васькин голос:

— Барин... миленький... звонят нам!..

Так и сказал не своим голосом, а жалким, детским: «нам».

Другой спутник Григорий Афанасьевич, бывший земский, воскликнул, обрадовавшись:

— Вздвиженки это наши, наш колокол!

И откуда у путников силы взялись! В каких-нибудь пять минут доплелись они по звону, за лошадьми, до церкви их села Вздвиженки.

Дальше послушаем эту быль из уст священника, батюшки отца Семена:

— Лег я рано. С бурана разморило. Когда засыпал, подумал: не дай Бог, ежели кого захватит такой метелью! И еже подумал: надо бы звонить, мужикам сказать...

И заснул. И вот слышу во сне «глас в нощи»: «Батюшка Семен, велел бы ты звонить. Путники по дороге сбились». Тут я проснулся. Послушал, шумит метель. Не дай Бог!

Перекрестился отец Семен, прочитал молитву о плавающух и путешествующих. Валенки надел, шубенку накинул. Разбудил старушку калечную. Наказал ставить самовар. Сам побежал сторожа будить — звонить.

Старушка спрашивает:

— Чего ты, батюшка, отец Семен, ни свет ни заря чаю запросил?

А он отвечает:

— Гости сейчас будут. Чайком согреть надо...

Такая в нем вера взгорелась, что поставил на окошко церковную свечку. Отворил ставню. Поджидал, молясь у окна. И путники добрели «по гласу в нощи», во славу Господа.

Один старый поэт, прочтя рассказ об отце Семене, сказал о нем:

Симеоне Богоприимче
Имал в сердце Бога
Людям неустойчивым
Указал дорогу!

Вспоминаются мне зайцы, предупреждавшие естественника о несчастьи, о которых так ласково пел царь Давид в своей Псалтири:

«Высокие горы для серн... И камень прибежище зайцам!»

И снова возникают строки старого поэта:

О чем вещает глас в нощи?
Упал, так снова путь ищи
В обитель Божью, в Божий дом.
В пути и крестик придорожный
И всякий знак тебе поможет.
В пути и камешек — маяк
Тропинок зайца непреложный!

Многие писали рассказы о буранах и метелях. Но такого чудесного рассказа, как «Глас в нощи», не было ни у кого!

3.

К Повести «Неупиваемая Чаша»

(Смерть художника Ильи)

Умер Илья теплой весенней ночью . . .

Ив. Шмелев «Неупиваемая Чаша».

Был Илья единственный сын крепостного дворового человека, маляра Терешки, искусного в деле, и тягловой Луши.

Матери он не знал: померла она до году его жизни. Приняла его на уход тетка, убогая скотница Агафья, и жил он на скотном дворе, с телятами, без всякого досмотра — у Божьего глаза.

Топтали его свиньи, и лягали телята; бык раз поддел под рубаху рогом и метнул в крапиву, но Божий глаз сохранил, и в детских годах Илья стал помогать отцу: растирал краски и даже наводил свиль орешную по фанерам.

Сохранилась у меня от тех времен колыбельная песня убогой скотницы Агафьи, тетки Ильи, заменявшей ему «помершую» мать:

Спи, усни, мое дитятко!
Тихо ночь пройдет,
На прудах соловей поет.
Баю, баюшки, баю,
Баю, мое дитятко.
Спи, усни, мое дитятко!
На островку соловей поет.
На островку, говорю, Ильюшечка!
Баю, баюшки, баю
Баю, мое дитятко!
Спи, усни, мое дитятко!
По тебе соловей поет в черемушке,
По тебе бездомышу . . .
Баю, баюшки, баю,
Баю, мое дитятко! . .

Шли годы. Вырос Илья. Стал большим художником. После погребения праха новопреставленной Анастасии, барыни своей, пришел Илья к барину и сказал:

— Хочу расписать усыпальницу.

Уныло взглянул на него барин и сказал уныло:

— Да, плохо, Илья, вышло. И ты захирел . . . Ну, пиши . . .

Две недели работал Илья в холодном и сыром склепе, писал ангела смерти, перегнувшегося по своду, с черными крыльями и каменным лицом, с суровыми очами, в которых стояли слезы. Склонялся этот суровый ангел над изголовьем могилы Анастасии.

Кончив работу, самую тяжкую из работ своих, слег Илья и не поднимался больше.

Пришел его навестить дьячок Каплюга. Сказал ему Илья:

— Вот умираю. Сходи в монастырь, Анисич . . . дай знать. Не доберусь сам . . .

Умер Илья теплой весенней ночью. Слышал через

отворенное окошко, как поет соловей. Слушал и думал: поет на островке, в черемухе.

Приняли последний вздох Ильи тетка Агафья и старик Степан.

Рассказывала Каплюге, старая Агафья:

— Скажи, — говорит, — тетенька Агаша, будто соловей поет, слышно?

— Поет, — говорю — Ильюша.

— А где он поет, тетенька . . . на прудах?

— На прудах, — говорю, — на островку.

— На островку? — говорит.

А потом подремал.

Приняли они, двое убогих, последний вздох Ильи, тихо отошедшего. Тихо его похоронили, и приказал барин положить на его могилу большой валун-камень и выбить на нем слова.

Умер Илья, и забыли его. Травой заросла могила его на северной стороне церкви, осел камень и стал обрастать мохом. Стало и его невидно в густой траве.

Принял монастырь Ильину икону — Неупиваемая Чаша, дар посмертный. Дивились настоятельница и старые люди. Шептали сестры-монашки:

Неупиваемая Чаша . . .
И Невечерний Тихий Свет!
В ночи — Молитвенница наша,
А днем Благоуханный Цвет.
Ее имен не перечислить,
Ее чудес не рассказать.
О них нам трудно даже мыслить . . .
О них лишь сердце может знать! . .

Явилась во сне сестрам сия икона. Стали во сне видеть ее и старые люди. И пошел слух, что чудесная эта икона!

Часть III

Из Восточных новелл

ПЕСКИ ПОЮТ

Который год шатры да дюны?
Молюсь на звезды, как феллах,
Пески поют — златые струны
И плещут в знойных берегах.
Давно хранит меня Аллах
Среди племен, враждой опасных,
Суровых мулл и ханов властных
И мне в пути неведом страх.
В песках сыпучих и в горах
Живу, как дома. Улыбаюсь.
А что кочевник я — не каюсь . . .
Пустыни ширь в моих очах!

КАКОЙ БЫ РОК . . .

Мне ветер кажется родным —
Он вечно бродит по пустыням.
Как хорошо, обнявшись с ним,
Стремиться к далям светло-синим.
Пески дорогою считать
Да звезды числить во вселенной,
И, восторгаясь, размышлять:
Кто движет ризою нетленной?
И смысл глубокий находить
В огнях комет, пронзивших небо,
В полете жить и смелым быть,
Какой бы рок над нами не был!

ВЕТЕР

...Привет тебе, песков хозяин
Пришельцев севера прими!
С детей полуночных окраин
Обет скитания сними...

Они встретились дождливым утром в Великой Пустыне. Белый человек шел с севера. А смуглый гнал к шатрам своих мокрых верблюдов. Лил сильный дождь. Ноги вязли в песке. По гребням песчаных холмов прорезались глубокие борозды дождевых рек. И целая Пустыня походила на гигантскую ниву, которую Аллах распахал за ночь для какого-то жуткого посева.

Белый шел, как вольный скиталец, волосы которого развевали все ветры земли. — И лицо его было обожжено солнцем многих городов и пустынь.

Воспоминания отражались в его взгляде. И в смелых движениях руки играл опасный опыт целой жизни, прожитой в беде и буре.

А смуглый мирно гнал верблюдов. И лениво выжимал воду из своей длинной одежды.

В медленной поступи запечатлелось усталое спокойствие Пустыни. — Но гибкие движения плеч выдавали могучего мятежника. Его мышцы были сильны, как лапы леопарда. А во взгляде молчала мудрость вековых сказаний.

Там, среди Пустыни, повстречались они только двое: белый и смуглый. Они взглянули один на другого, — будто бы пришли делить солнце. Взглянули, как два властелина, которые оспаривают друг у друга свет.

— Откуда ты, саиб?

— Что родина для скитальца и что для него чужбина? Разве не во всякой пустыне лев утоляет кровью свою жажду? Я пришел из страны темно-лиловых фи-

алок, где теперь лежат белые саваны снегов. А на них алые маки — кровь моих белых братьев!

Дождь падал длинными усталыми полосами. Песок кипел и мутные реки массами мчали его к оазисам. Небо было мертво и нахмуренно, как лицо бедуина у которого Аллах отнял верблюдов.

— Ты говоришь о крови, как об этих потоках Пустыни. Разве тебя не научили в детстве бояться проливать кровь? Кто твоя мать, саиб?

— Женщина с глазами и душою нежными, как наше лазурное небо. Но ее убили и в моих воспоминаниях нет уже ни одного ее поцелуя!

Над ними навис темный свод, гигантский кактус, впившийся шипами в землю. А над горячими песками носились густые пары и закрывали небосклон от края до края.

— Что привело тебя к черным, саиб?

— Я пришел сюда жить . . . Пришел послушать безмолвие горячих песков и увидеть солнце!

Верблюды покачивали вытянутые шеи. И оборачивали головы, чтобы видеть, не кличет ли их господин их. Желтая вода текла из льняных покрывал по длинным ногам животных.

Красная черта прорезала небосклон. И вдали открылась неровная лента синего неба. Дождь лил крупными каплями, тяжелый, как свинец, и выдалбливал ямки в песке.

Огромная грудь Пустыни была изранена. И мутная кровь кипящими потоками стекала вниз, к оазисам.

Вот он — оазис цветущий
Житница древних царей,

Снова к скитаньям зовущий
В лоно песчаных морей.

— Что делаешь в шатрах, саиб?

— Я люблю смуглых девушек, очи которых блестят, как ножи. А поцелуи кровавы, как объятия тигра. А когда их нет, песни пою, и плачу и дивлюсь безумию моих белых братьев.

Песчаные потоки молчали и текли медленее. Пески нагромождались буграми, преграждая течение. Чтобы стрясти воду, верблюды встряхивали горбами.

Дождь перестал.

Блеснуло изсине-черное небо, от которого стало больно глазам.

Земля трескалась, как лицо опаленное самумом.

— Кто тебя научил так жить, саиб?

— Ветер, который разметал мои думы. Ветер, который крутит вихри песка, навевая сон над Пустыней всех живущих!

Глаза слипались от гневного солнца. На краю Пустыни в мутном свете маячили туманные миражи.

Над широким песчанным морем кипела багряная игра лучей, будто чье-то чудовищное пламенное дыхание. Накалившийся воздух, как огонь, проникал в легкие.

Миллионы песчинок смотрели зло и остро, миллионами завороженных мертвых змеиных глаз.

А там, — среди Пустыни, — стояли они, — только двое: белый и смуглый.

И глядели один на другого, будто пришли делить эти безбрежные горячие пески. Глядели, как два властелина, которые оспаривают друг у друга свет . . . . . .

ФАТЬМА-ХАНУМ

ЛЮБОВЬ ВЕЧНА

Посвящается жене моей Ю. А. Кутыриной.

Любовь — вечна! — *Коран*—
Сильна, как смерть, любовь
— *Библия* —

. . . Фатьма — любимая жена
Давно ушедшего пророка.
Теперь с небес глядит она
Звездой вечернего востока . . .
Куда, какою чередой
Направит наши караваны,
Где окропит живой водой?
Песков пылают океаны.
И нас несет поток времён
Но что утешит наши думы?
Не для того ли мир взметён
Чтоб жизнь очистили самумы?

Да будет благословенно имя Аллаха, украсившего ночи прекрасной луной, создавшего нежные цветы с дивным ароматом, женщину с чарующей улыбкой и любовь!

О, любовь! Она, окрыляя, то возносит на седьмое небо, в самый рай Магомета, то подрезав крылья, повергает в прах, в седьмую бездну, в самый ад.

Аллах! Аллах! С одного и того же неба, Ты посылаешь и трепетно розовые лучи зари и страшные стрелы грома. Кто может понять Тебя? Кто может постигнуть начало и конец Твоих великих творений?

Аллах-иль-Аллах!

Я тебе расскажу историю одной любви. Не потому, что она необычайна, или лучше слышанных тобою раньше, но потому, что другой не знаю.

Фатьма-Ханум была прекрасна, как луна на небе и как луна непостоянна. Она вела жизнь легкую, несмотря на строгость законов Пророка, и ласками ее пользовались многие.

Что делать? Фатьма-Ханум была как цветок, а разве цветок может не дать приюта мотыльку, прельстившемуся им, или отказать в ласке пчеле, доверчиво прилетевшей за медом из далеких оазисов.

Но так жила она, пока не пришел в Пустыню белый человек, с глазами, как небо Севера, с душой отражавшей чистоту далеких голубых озер. Его звали Айван.

Она полюбила его и не хотела больше никого знать. Когда приходили к ней юноши ее племени, она говорила им:

— Я была доступна, как распустившийся цветок, пока не пришла любовь и не постучалась в мое сердце. Я уже отцвела теперь, и уста и сердце мои сомкнуты. Как плод полон сладким тягучим соком, так я полна любовью своей и своим любимым. Идите! — ищите скорее других девушек, сердце которых еще цветок, и уста еще открыты для поцелуя.

Когда эти слова дошли до вождя ее племени, он пришел в страшную ярость, так как хотел сделать Фатьму-Ханум своей женой. Он отнял у белого все его имущество и отправил его вглубь страны, где жалили змеи, где солнце Пустыни сжигало без пощады даже своих черных детей, раньше чем их настигала отравленная ядом стрела бедуина.

Айван, расставаясь с Фатьмой-Ханум, сказал:

— Жди меня! — любовь вечна. А я люблю тебя, смуглая девушка, твою белую душу. Когда срок моего изгнания кончится, я приду к тебе, и мы уйдем в страну тихих голубых озер.

Но вождю племени было мало того, что он разлучил Фатьму-Ханум с любимым.

Он приказал однажды привести ее в свой шатер.

Фатьма-Ханум не хотела идти, но ее силою голые черные воины принесли к повелителю. Она не могла ослушаться.

— Почему ты не хотела идти ко мне? — грозно сказал повелитель. — Разве тебе не говорили, что я прислал тебе сказать, чтобы ты любила меня и жила в моих шатрах, так же как живут мои жены? Аллах мне дал власть над тобою. Разве ты не знаешь, что я достоин любви всякой женщины моего племени, как бы прекрасна она ни была?

— Ты прав, — ответила спокойно Фатьма-Ханум. — Ты могуществен, красив, богат и славен, и имеешь над нами власть от Аллаха, и достоин любви всякой женщины нашего племени, какой бы прекрасной она ни была, но только той, чье сердце, как цветок, открыто. Аллах, давший тебя — да будет славным Его имя на всей земле! — дал мне и мужа. Я — женщина, и не ты, а муж — мой повелитель. Его нет, но он вернется. И только он один может владеть моим сердцем.

— Ты говоришь о белом? Я его послал в Пустыню, чтобы ты убедилась, что бродяга не возвращается к потушенному костру и что гяурин должен умереть как гяурин — собачьей смертью. Ты сияешь красотой как бриллиант, и как бриллианту тебе нужна дорогая оправа. Брось бедный шатер твоего отца и будь моей женой.

Фатьма-Ханум с гневом отвергла предложение повелителя.

— Матери наших матерей запретили мне поступать так. Они заклинали Аллахом хранить любовь свою в своем сердце!

— Все это басни! — вскочил взбешенный вождь. — Басни гяурина! Ты не хранишь заветы старины, а тебе жаль ложе, которое ты осквернила с ним, смеясь над верой наших отцов!

И он крикнул:

— Эй, рабы! Бросить ее в темницу!

Каждый день черные рабы приносили ей объедки своих псов и спрашивали, как приказал им повелитель:

— Хочешь ли быть женою повелителя?

— Я не переставала быть женою своего господина, — отвечала тихо Фатьма-Ханум. — Он далеко, но он вернется и мы уйдем в страну, где нет жгучих белых песков и кипящей злобы моих черных братьев.

Тогда вождь племени сказал:

— Бейте и секите ее каждый день, пока в клочья не порвется кожа на ее собачьем мясе, пока не увидите ее поганых костей, пока она не умрет или не сделается старухой.

И так секли и били прекрасную Фатьму-Ханум, пока не пропала ее красота.

Тогда вождь приказал отпустить ее на волю.

— Пусть видят девушки племени, до чего доводит гяурская любовь.

Фатьма-Ханум возвратилась к шатрам своего отца и там жила в ожидании того, кого любила.

Так прошло семь лет.

Но разве знает кто-нибудь, что такое время?

Разве это семь звезд в далеком небе? Не семь ли это капель амбры, которые ты неосторожно уронил в жадный песок пустыни? Семь значит ли для Аллаха много? Это тебе указал он, когда ночь, и что есть день,

и как уходит год за годом. Сам же он есть и будет вне меры! И вот однажды в Пустыню пришел один человек. Как вольный скиталец, как равный, он смело раскинул свои шатры в соседнем оазисе и стал петь песни, незнакомые слуху, и расспрашивать о тех, кто жил в пустыне.

От девушек племени он узнал о безумной старухе, разбитой и несчастной, которая ждет своего возлюбленного. Он все узнал про Фатьму-Ханум: как мучили ее, как была она верна ему и как теперь живет она уединенно, прикованная к постели. Человек этот был Айван.

Он пошел к ней и постучался.

— Это моя любовь стучится снова в мое сердце! — услышал он молодой и звонкий голос. Фатьма-Ханум сама пошла к нему навстречу.

Они узнали друг друга и не нашли в себе никаких перемен.

Потому что смотрели прежними глазами, глазами любви, в которых светились их души. А души всегда молоды, и вечно юна любовь, молодящая их.

Поэтому они и казались друг другу такими же прекрасными, как раньше.

Они оставили страну, где еще жил суровый вождь черных, — и не потому, что боялись его, а потому что так для них было лучше, — и поселились далеко-далеко на Севере, в стране голубых тихих озер.

И были счастливы и молоды.

В ПУСТЫНЕ ЗНОЙНОЙ

...караван в пустыне знойной
все идет, все идет...

Травами росными бредим
Знойный полу́денный час.
Солнцем палимые едем.
Свет нетерпимый для глаз.
Жадно песчанное море
Жжет наш дымящийся след.,
Пляшет в тоскующем взоре
Злобным предвестником бед.
Долго ль еще караваны
Будут кипеть на огне,
Ночи и лунной нирва́ны
Ждать в нескончаемом дне?
Вспыхнули звездные лики
В гребнях песчаных могил...
Кто-то Незримый, Великий
Дышет прохладою крыл!

СОН В ПУСТЫНЕ

«Есть два рода людей, — те, которые знают и те, которые не знают А есть знание — истинное, и только оно важно.
Но оно доступно немногим!»
(Восточная мудрость).

Что наша жизнь? — сон
Великой Пустыни!
(Коран).

Когда Магомет изрек последний стих Алкорана, огненнй сон настиг его в Пустыне и он заснул.

И увидел Пророк перед собою море из пламени и по огненным гребням его мчащегося Азраила. Стрела его была заострена и лук его натянут. Копыта коня его были подобны кремню рождающему огонь. И грива коня, и вид его был как вид льва, который вот-вот заревет и схватит добычу, и унесет. И никому ее не отнять.

И глас, как знойное дыхание Самума долетел до ушей Пророка:

— Встань, и иди ко Мне, Магомет бен Абу Талеб!

Но Пророк посмотрел на пламень и страх объял сердце его и он ответил:

— Не смею Аллах! Огненны Твои одежды и Твоя чалма соткана из пламени. Как коснусь грешным прикосновением края одежд Твоих — я сгорю. Ты меня растопишь, как солнце топит воск!

Но глас снова долетел до ушей Пророка, и глас был подобен мертвящему дыханию полярного ветра.

— Свое огненное слово тебе дал, Магомет бен Абу Талеб, свою мудрость тебе открыл Вечный! И ты боишься Его? Встань и иди ко мне!

И посмотрел снова Пророк и видит перед собой снежную пустыню, и по ледяным уступам ее шествует Азраил.

И страхом наполнилось сердце Пророка, и он сказал:

— Ледяны Твои одежды, Аллах — не смею. Из мрака сотканы твои одежды и чалма Твоя — снежный кактус. Как дотронусь грешным прикосновением края одежд Твоих. Ты изледенишь меня, как нож леденит кровь неверного раба!

И тогда перед Пророком воспламенился лед и растопил снежную пустыню.

И, трепеща, взирал он на чудо, и в ужасе потупил очи.

А когда поднял их, не увидел ничего.

И тяжелый мрак простер невидимые крылья и в сердце его кровавыми когтями впилось мрачное молчание.

И не мог он перенести мерной тяжести безмолвного мрака.

И сказал:

— Где Ты меня оставил, Аллах? Зажги звезды во тьме, дай вихрь, и да развеет он жуть Твоего страшного молчания. Годы Ты говорил со мной в огненных беседах, а сейчас молчишь во тьме и хладе. Сжалься над своим верным рабом, Аллах-иль-Аллах!

Но молчание нависло вокруг и мрак давил, как тяжелый молот.

И почувствовал Пророк невидимый перст, коснувшийся его и вздрогнул и обернулся, но не увидел никого.

И прошептал, замирая от страха:

— Кто Невидимый коснулся меня перстами? Ты ли, Аллах, или это враг Твой?

Но молчание было вокруг. А мрак и хлад давили, как молот.

И тогда глас раздался и достиг ушей Пророка. И глас был тих, как полет мотылька и был далеким.

— Пламень Я, — ты не можешь придти ко мне. Холод Я, — и ты не можешь Меня достигнуть. Огни семи морей отделяют тебя от Меня, и льды семи пустынь лежат между нами. Испугался Моего молчания, Магомет бен Абу Талеб? Почему испугался? Ложью был всякий глас? Ложью были все суры Небесной Книги? Ложью были все чудеса, которые ты видел? Только молчание

и мрак были правдой? Но ты не мог их перенести, и ты не мог их постигнуть! Ты, которому открыл свою мудрость Вечный. Горе тебе, Магомет бен Абу Талеб, горе тебе!

И спросил Пророк второй раз:

— Кто невидимый мне говорит? Ты ли, Аллах, или это враг Твой?

Но мрак и молчание царили вокруг.

КАЛЛАМ ЭЛЬ АЛЛАХ

— Куда идешь, саиб? — спросила смуглая девушка, вся обожженная солнцем пустыни, белого путника с мужественным лицом и глазами полными отвагой.

— Искать правды! — ответил он смело.

— Но ты не найдешь ее там, куда идешь. Ты встретишь только смерть, саиб! — печально сказала смуглая девушка.

— Нет! — решительно возразил путник. — Я иду туда, где живут мои смуглые братья. У них я найду правду!

— Не ходи! — испуганно произнесла девушка, почти вскрикнула. Но потом, одумавшись, прошептала: — Каллам эль ллах! Ты слышишь голос Аллаха. Племя, к которому ты идешь, ничтожно и лживо. Оно не знает того, что ты ищешь. Опасайся идти к нему!

В глазах смуглой девушки светилось тревожное участие, и глубокая скорбь. Она знала, что ждет путника на его пути.

— Я не могу не идти туда, в пустыню! — снова сказал юноша все настойчивей и решительней. — И сам я,

и мои белые братья, страдали от неправды. Они погибли в борьбе. Но я хочу найти правду. И найду ее у моих черных братьев!

Бессильны были мольбы смуглой девушки. Путник ушел туда, куда влекла его смелая надежда.

— Стой! — как стрела бедуина, жгуче прозвучал голос смерти в пустыне.

— Нет! — произнес путник твердо. — Я ищу правду. И не остановлюсь даже перед тобой!

— В таком случае поборемся! — сказала смерть с презрительной усмешкой.

— Хорошо! Пусть будет так! — согласился бесстрашный юноша.

Они бились не долго. Всего лишь один знойный день. К вечеру юноша лежал в горячих песках пустыни с запекшимися кровью устами, с угасавшим взором.

— Ну, теперь уж он не пойдет искать правду! — сказала смерть торжествующе, заглянув в его померкшие глаза, и ушла.

Среди ночи в пустыне белого нашли его черные братья. Они перевязали ему его кровавые раны. Бережно отнесли к своим шатрам.

— Я больше не пойду искать правду! — произнес белый юноша, когда, поднявшись, он почувствовал вернувшиеся к нему мужество и силу. — Я нашел правду здесь, у моих черных братьев. Теперь я хочу борьбы. Торжества найденной мною правды. Хочу смерти врагам моих смуглых братьев, или . . . себе. Пусть будет смерть, но не торжество зла!

И он снова тронулся в путь. И снова повстречал смуглую девушку, обожженную солнцем пустыни.

— Куда идешь, саиб? — опять спросила его смуглая девушка.

— На смерть! — ответил он.

И девушка поразилась силе его возмужавшего голоса.

—Я пойду с тобой! — воскликнула она. — Потому, что я полюбила тебя. И умереть с тобой для меня счастье!

— Идем! — сказал белый юноша. — Твоя любовь придает мне силы. И умереть вовсе не страшно. Лишь бы восторжествовала правда!

Смерть уже стояла на дороге, готовясь снова преградить путь. Но смутилась при виде смуглой девушки. Так как знала силу любви.

— Смерть хочет идти с нами! — предупреждающе, с тревогой, прошептала девушка.

— Я пойду против тебя! — обратилась смерть к белому юноше. — Хотя ты теперь сильнее!

И смерть указала на смуглую девушку. Она коснулась белого юноши костлявыми руками.

И белый юноша вырос, в объятиях смерти, в гиганта покрытого железной броней, под ногами которого расстилался весь Черный Материк.

— А она будет твоим щитом! — сказала смерть, костлявыми устами улыбаясь девушке.

Огромный щит заблистал в руках юноши, как алмазы песков, освещая собой всю пустыню, простиравшуюся перед ним от моря до моря.

С высокой горы, как с облаков, смотрел белый скиталец, ставший гигантом над безграничной пустыней, лежащей у его ног.

А пустыней двигались тучами его смуглые братья. Они не бряцали оружием. И не было слышно их воинственных восклицаний.

Белый юноша стоял, как зачарованный. Улыбнулся и сказал смерти с восторгом, указывая на Великую Пустыню:

— Она будет моя!

Смерть кивнула головой, тихо пощелкивая костями.

— И моя!

Но, добавила смуглой девушке:

— Каллам эль Аллах! Как угодно Аллаху!

СТАНУТ ПЕСКИ КОЛЫБЕЛЬЮ

ПЕСКАМ МОИМ

Выгнув высокие спины
Бродят верблюды стадами.
«Чем дорожат бедуины?»
«Волей! И грезят шатрами!..»
Будем и мы проникаться
этой колдующей думой:
солнцу в пути улыбаться,
звездам и знойным самумам!..
Станут пески колыбелью...

Когда умру, в пустыне меня заройте. Там заройте певца Севера.

Далеко от шатров меня унесите, мои смуглые братья. В песках погребите меня.

Видел молодой Мугал: кого-то пронесли мертвым на пальмовых ветвях. Злодеи его убили.

Уста его запеклись. И очи окровавлены. И глядят, как очи уставших видеть. Но он, все же, хотел жить. Как всякий человек, которому от Аллаха дана была жизнь.

Вот так будут глядеть и мои очи, когда я умру.

Слышал, старец Телеб, кто-то пел во мраке, в преддверии зари.

Кто-то свидетельствовал, на весь простор Великой Пустыни, о том, что нет Бога, кроме Бога. И призывал все сущее поклониться Ему, Единому.

Голос его трепетал, как струны зурны. И в песне плакала скорбь всех несчастных.

Так будет петь в пустыне и моя душа. Бездомной была душа моя. И носилась она, как птица в бурю, от моря до моря. Ушел от белых. Жил между смуглыми. Среди вас меня погребите, мои смуглые братья.

В пустыне меня заройте. В белый, как саван, песок пустыни. В ней сам хочу оплакать себя.

Слышал Нефрет, как стонет больное дитя. Грустно и тихо поешь ты, Нефрет, заменяя умершую мать.

Но слезы кипят в твоих очах и в твоем сердце. И ресницы твои влажны, как крылья птиц в бурю.

«Плачет в пустыне
Колбагай птица,
над телом любимой!
Колбагай птицы.
Прострелил
ей сердце,
Колбогай птице.
Ах!
мое сердце
пожалеть некому! . .»

Плач слышится в песне твоей, Нефрет!

В плаче жил ты целую жизнь, бедный кочевник. Плачем будет и моя смерть.

Не придут, знаю я, не придут девушки племени оплакать меня. Я был чужим в шатрах моих смуглых братьев.

Не любят меня смуглые девушки, это знаю я. Плакальщики мои будут вихри пустыни. И мои смуглые братья и сестры меня забудут.

Завоют в полуночи дикие самумы. Понесут тучами пески к оазисам. Будут прислушиваться старые вожди, скажут:

— Это он плачет там. В пустыне плачет певец Севера. Не встреченный нами жил. Не сопутствуемый родными похоронен.

Но помянет Пророк певца Севера. Любил он нас смуглых обожженных солнцем пустыни, как своих братьев.

Мы забыли его, мы не признали его братом смуглых. И, вот, сама пустыня плачет над ним, как над своим сыном!

Песок горячий и певучий
Поднялся к небу фимиамом,
Взлетел молитвою кипучей
И вся пустыня стала храмом.

СОЛОНЧАКИ

Вдали привратники пустыни,
Как снег блестят солончаки
И мы спускаясь по долине,
В шатрах ночуем у реки.

А завтра в путь песком сыпучим,
От дюны к дюне, по волнам —
Навстречу буре, грозным тучам,
Горячим солнечным лучам.

И потная спина верблюда,
Качаясь словно колыбель,
Вновь унесет увидеть чудо,
Испить свободы сладкий хмель.

ЧАРЫ ПУСТЫНИ

ЧАРЫ ПУСТЫНИ

Золотая пыль пустыни, нежный, призрачный туман, а над нею в бездне синей — воздух словно океан. Вознесенный и пронзенный солнцем, солнечной стрелой, многоустый, многозвонный и куда-то устремленный — светлый Божий аналой. Караван плывет в забвеньи, не со мною, надо мной и верблюды . . . Точно звенья к грезе дальней, неземной!

В ДАЦАНЕ

Господь, хвалу Тебе пою и перед чуждою святыней, в тиши Дацана, в дымке синей, как зачарованный стою.

Не Ты ли, в бронзе и в огне, предстал пред набожным бурятом, Твоею милостью богатым . . . И ваш союз судить не мне!

Так хорошо в ушедшем дне, каком-то благостном тумане — я в древнем храме, я в дацане . . . С Тобой, Господь, наедине!

БУРЯТСКАЯ НАДПИСЬ

Давно составлен план спасения людей, Предвечным Разумом обдумано решенье. Любите предков ваших до заката дней, вы к ним придете в горния селенья.

Пригоршню риса, в храм, почившим на обед, не бойтесь принести. Узнайте у монаха . . . Он передаст еду, и просьбы, и привет. Исполнив это — странствуйте без страха.

В ТИБЕТ

Тяжелым вышел караван навстречу солнцу и пустыне. Орлы застыли в бездне синей. Весь как из золота Дацан. Собрались набожно буряты нас проводить в далекий путь и за ночлег не взяли платы: потом заплатим как-нибудь, когда вернемся из Тибета, вновь посетим степной дацан, его с молитвой вспомнив где-то, в песках святых буддийских стран.

ДЮНЫ

Давно кочуем, как номады, в пустыне знойной, золотой, где дюны, сонные громады, верблюжьей попраны пятой. Они застыли мертвым морем на взлете к небу, высоко; дорогой с ними часто спорим, но полюбить их нам легко: теряясь где-то в дали синей, вдруг станут грозною стеной — дымящий снег, огнистый иней, как будто север наш родной.

КАРАВАН

Тибет высокий — Крыша Неба, где бог живой, Далай Лама. Я там давно с поклоном не был, меня ведет сама судьба. Тягучим, звонким караваном, послы Сибири — тащим дань по азиатским диким странам, нам дал конвой монгол-амбань. Велел молиться в дальней Лхасе. Он шлет монахам дар степей: пахучий ладан в желтой массе, араку с медом . . . Только пей!

ШАГДУР

Со мною спутник Свен Гедина, родной казак, бурят Шагдур, степняк, с душою бедуина, но весельчак и балагур. Он не дает скучать в дороге: то зверя гонит на аркан, а то, глядишь, падет под ноги шутя подстреленный сапсан; отыщет воду под песками, а чтобы ужин разогреть — начнет шаманить над кострами, пустыни прах заставит тлеть.

ОПЯТЬ В ПУСТЫНЕ

Опять я в пламенной пустыне, брожу кочевником простым. Не надо мне уже отныне внимать людским словам пустым. Шатры в пути моем — отрада, холодный ключ — вина хмельней. Свободы высшая награда — оазис, тишь густых аллей. Ночное небо в душу глянет, когда проснувшись налегке, мой взор куда-то к звездам канет, как будто не был на песке.

ЛОБ-НОР

Путем забытым Марко Поло, венецианского купца, бреду в пустыне, дикой, голой — моим скитаньям нет конца. Крылатым озером Лоб-Нор я был однажды очарован и нет покоя с давних пор: к нему духовный взор прикован. Все грежу, в пламенных песках, увидеть воды золотые, ночные юрты в огоньках — как будто стан орды Батыя.

САМАРКАНД

Громадой пыльной Самарканд притих в песках родной пустыни — приют опасных, диких банд, где Тамерлана дух поныне. Во мгле вечерней муэдзин поднялся ввысь неторопливо. Из каравана я один могу понять его призывы: он мне напомнил, что приспел молитвы час и час покоя и что Аллах нам повелел оставить временно земное. И обратиться на восток, откуда солнце завтра глянет, а если милостив пророк и новый день для нас настанет.

У ГРОБНИЦЫ ТАМЕРЛАНА

Я в Самарканде — Мекке русской, где хан суровый Тамерлан, почил от недугов и ран в гробнице вычурной и узкой. Ему, как мне, был тесен мир. Душа стремилась вольной птицей... И вот, теперь — лежит он сир, веков ушедших небылицей. Что принесу я в дар ему: сибирский высохший богульник? Не оскорблю ли, богохульник, его священную тюрьму?

В ПЕСКАХ

Песок заполнил небеса, с песком и дождь на нас струится, песком и молния огнится, в песке и радуг полоса. Верблюды дышат тяжело, глаза прищурив терпеливо. Дорогу вовсе занесло, но всеж — бредут неторопливо. Придут в оазис голубой, к озерам светлым, бирюзовым, пески оставив за собой и знойный день, такой грозовый.

АРАЛЬСКОЕ МОРЕ

Верблюд — живой корабль пустыни, от дюны к дюне держит путь. Песок метет, нельзя вздохнуть — он на земле и в бездне синей. Песком весь мир заволокло. И солнце в пламенной вуале. А что я вижу? Там, поодале, горит гигантское стекло! В Аральском море не вода, кипучий бисер золотистый — песок горячий и искристый, несется тучами туда. Но вот затихло. Бирюзою опять блестит морская гладь. Чиста лазурь . . . И благодать, как было раньше — пред грозою.

ПЕСОК ЯЗВИТ

Песок язвит, как тучи стрел, как сотни арф звенит в пустыне, палящим зноем закипел по медной, кованной равнине. Сожженный солнцем караван втянулся в огненное море . . . Ужель не видеть дальних стран, лишь смерть в суровом приговоре? Но, что блеснуло там? Вода? . . Хвала Аллаху и пророку — мой караван дойдет туда, наперекор слепому року!

ОМАР ХАЙЯМ

Беспечный перс Омар Хайям, мне повстречался знойным летом. Стремясь к неведомым краям, живу в песках, как он — поэтом: смотрю на звезды и пою . . . О чем? О дюнах, о пустыне, о караванах в дали синей, развеявших печаль мою. Орлов и стрепетов ловлю, летя, как вихрь, на кобылице. Душа моя подобна птице . . . Ты слышишь? Птицею пою!

Я ТОЖЕ ДИКИЙ

Мой запыленный караван в пустыне знойной золотится. Под ним песок плывет, дымится — как будто утренний туман. Везу ковры из дальних стран. Я был в Кашгаре, древней Лхассе и над опасностью смеяся, пришел на отдых в дикий стан. И сам я чем-то обуян: я тоже дикий, смелый взором . . . Я не пытаю даль с укором — свободой счастлив, солнцем пьян!

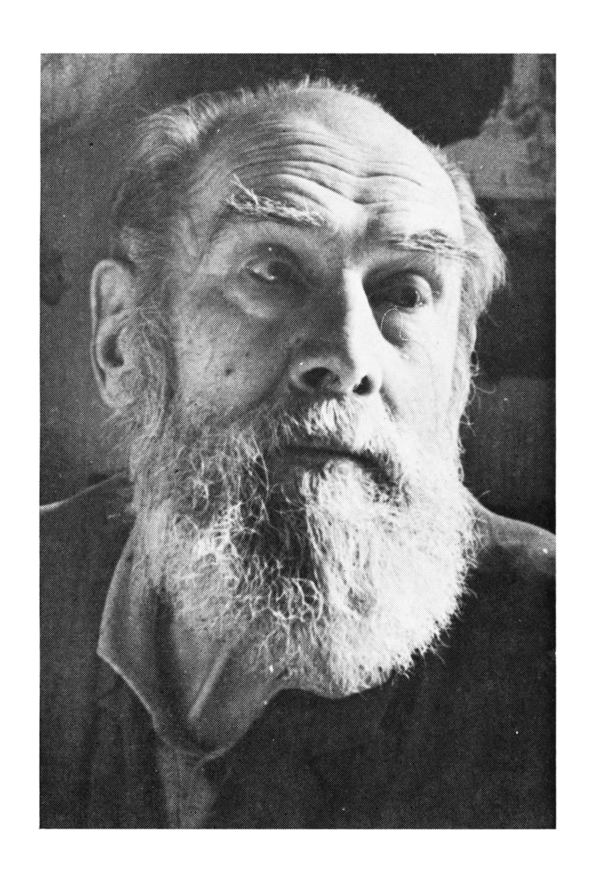
ВОЛЬНОСТИ ШАТРЫ

Раскинул вольности шатры, послушный смелому Хайяму люблю я буйные ветры и тишь, подобную бальзаму. Рассвет, шафранных зорь восход, над дюной солнца шар багровый и, как пытливый мореход, всегда ищу дороги новой. Пустыня утром хороша: звенит песок, живой, летучий . . . Не здесь ли дикая душа вдруг стала легкой и певучей?

ПЕСОК ТЕЧЕТ

Как море движется пустыня — песок потоками течет, и на земле, и в бездне синей, о чем-то жалобно поет. И нас он скоро занесет горячим, пламенным сугробом. В проводнике моем убогом я вижу страх и смерти гнет. Но караван домой придет, верблюды вынесут из бури, а небо, в ласковой лазури, нам жизнь, с улыбкою, вернет.

Послесловие



Ив. Новгород-Северский (1969 г.)
(Последний портрет)

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В первое посмертное издание сборника произведений в прозе Ивана Новгород-Северского, вошли только некоторые рассказы 1920, 1921 и 1925 гг. В послесловие включены статьи посвященные памяти талантливого писателя и большого поэта, а также к пятидесятилетию его литературной деятельности (1963 г.), к его семидесятилетию и статьи о его скоропостижной кончине десятого июля 1969 года.

Крупнейшая русская газете на Западе в США, «Русская Жизнь» (Сан-Франциско, Калифорния) поместила следующие статьи редактора-издателя А. И. Далианич:

(«Русская Жизнь» № 6831).

А. И. Делианич

с глубокой скорбью приняла запоздавшую по вине почты весть о кончине 10 июля в Париже большого русского писателя и поэта

Ивана Новгород-Северского

и выражает свое душевное и искреннее соболезнование своей духовной матери

ЮЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ КУТЫРИНОЙ

(Русская Жизнь» № 6831).

УШЕЛ ОТ НАС СИБИРСКИЙ БАРД...

Сегодня только пришла маленькая весточка. Скончался Иван Новгород-Северский, верный сотрудник нашей газеты и журнала, большой писатель и поэт, оставивший нам русским, не только зарубежью, но даст Бог и в отечестве сущим столько прекрасного, посвященного им в прозе и поэзии любимой Сибири.

Мы — лично не знакомы. Не пришлось нам встретиться, обняться и пожать друг другу руки, но усопший бард и его супруга Юлия Александровна Кутырина, сказительница, писательница и лектор, блюстительница наследства ее дяди Ивана Шмелева, были мне очень близки, как родные. Сами они избрали меня своей духовной дочерью, обласкали, как родители, в каждом своем письме, в каждом посвящении на книгах — и я по-дочернему скорблю вместе с Юлией Александровной, потерявшей того друга, с которым с молодости и теперь до глубоких лет делила все радости и горести.

Передо мной лежит книга Новгором-Северского «Северное послание», вышедшая из печати в Париже в 1968 году, и на ней уже старческой дрожащей рукой автора написаны трогательные слова: «Нашей ненаглядной доченьке, любимой и близкой — И. Новгород-Северский».

Как мне дороги эти слова. Как горжусь я ими, но не нехорошей гордыней, а той, которую чувствуют дети, получив ласку от родителей.

В редакции «Русской Жизни» хранятся еще неопубликованные рукописи навек уснувшего поэта, дух которого наверно устремился туда, откуда ему близка его Сибирь; и следующий номер нашего журнала мы посвятим ему.

(Русская Жизнь» № 6849).

К КОНЧИНЕ ПОЭТА ИВАНА НОВГОРОД-СЕВЕРСКОГО

ПИСЬМО, ПОТРЯСАЮЩЕЕ СЕРДЦЕ

Сегодня я получила от Юлии Александровны Кутыриной письмо, которым не могу не поделиться с теми, кто любил Ивана Новгород-Северского, и с радостью читал его произведения.

«Доченька наша названная... Иван Новгород-Северский ушел ко Христу. Ушел 10 июля около 10 часов утра. Только теперь собралась с мыслями, чтобы внятно об этом написать... Оделся, как всегда, встал и вдруг склонился навзнич на постель под Ликом Божией Матери и портретом его матери, обожаемой им всем его прекрасным, золотым сердцем, полным света любви.

Ушел певец Матери Божией Державной, певец Вселенной, певец Ледяной Пустыни, певец Сибири, тундры, тайги, вершин и степей, арктики и айсбергов и всех народов, места те населяющих, борец за Великую Родину свою...

«Пусть свищут пули, льется кровь, пусть смерть несут гранаты, мы снова двинемся вперед, мы русские солдаты!» — Это он, Иван Новгород-Северский дал бойцам за Родину эту песню, и пели ее белые воины до конца.

За голову Новгород-Северского большевики назначили награду в 50 000 рублей и объявления об этом были расклеены повсюду после восстания моряков в Николаеве. Дважды был тяжело контужен. Вторая контузия казалась смертельной и его отправили в морг, где он ночью пришел в себя, вернулся к жизни среди

покойников. Как он страдал! Это не могло пройти без последствий, и он стал жертвой нервного расстройства. И во франции ему было нелегче. Его в больнице били и душили, когда он заступался за других избиваемых больных . . .

Ушел от нас Новгород-Северский. Лик его в смерти был прекрасным, полным неземного покоя. Ушел ко Христу Воскресшему. Накануне шептал свою постоянную молитву, которой никогда не изменял: «Христос Воскрес! Воистину Воскрес!»

Родная Ариадночка, доченька наша, скорблю, скорблю, нет слов больше . . .

Юлия».

⁂

Кто из нас знал о том, что именно Иван Новгород-Северский был творцом той песни, которую пели не только добровольцы Белой Армии, но их дети за рубежом, и еще поют, и будут петь их внуки . . . Господь да упокоит Своего воина Иоанна, закончившего тернистый земной путь.

А. Делианич.

К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ И. И. НОВГОРОД-СЕВЕРСКОГО

13 ноября 1963 г. в Париже, вместе с его верным другом-женой Ю. А. Кутыриной, отпраздновал свое 70-летие и 50-летие литературной деятельности известный писатель, поэт и публицист Иван Иванович Новгород-Северский.

Родился он 13 ноября 1893 года и детство свое провел на реке Зее Амурской области, а юность — в Ма-

риинске Томской губернии, где и почерпнул всю свою любовь к Сибири и ей посвятил большую часть своих произведений. Жил среди тайги, встречаясь с таежным зверем и многими племенами аборигентов Сибири. Отец его был участником Турецкой кампании — Балканской освободительной войны, и его рассказы об этом периоде в долгие зимние вечера произвели глубокое впечатление на и без того впечатлительную натуру будущего писателя.

И. И. Новгород-Северский учился в омском механикотехническом училище имени Императора Александра III и в Иркутском военном училище, которое окончил в числе первых. По делам отца, а позже по делам Переселенческого Управления (где служил идейно), он изъездил всю Сибирь, где верхом, где на почтовых, не раз почти погибал во встречах грудь с грудью со всеми опасностями жизни, от тундры до Алтая и от Великого океана до Урала, и потому вся Сибирь отражается в его творчестве.

Автор знаменитой, всем известной военной песни «Пусть свищут пули, льется кровь . . .», И. И. Новгород-Северский прошел через все страдания своей эпохи: войны, революции и эмигрантскую страду. Получив в первую великую войну тяжелую контузию, давшую ему стопроцентную инвалидность и осложнившуюся с 1932 года, он, несмотря на частые повторения заболевания, не прерывал своей творческой работы и в самых трудных условиях писал восторженные стихи, посвященные природе Севера и всей Вселенной.

Новгород-Северский выпустил следующие, вышедшие в печати, сборники стихов: «Айсберги», «Арктика», «Аргыш», «Тундра», «Заполярье», «Чум», «Шаманы», «Пески поют», «Ковыль да поле», «Тайга», «К созвездиям», «Песня Песней», «Пророки», «Самоцветы», «Ду-

нюшка-Дуняша», «Благовестье», «Божией Матери Державной», сборник религиозно-философских стихотворений «Аве Мария», «Вершины», «Пескам моим», «Степные огни», «Северное послание», «Таежные тропы», «Святцы», «Деревенька», «Бессмертие прошлого», «Остяцкие поторочья», «Стихи о Корее», «Ржаные песни», «Веселые докучки» и многие другие сборники — всех не перечесть.

Поэзия И. И. Новгород-Северского свободна и легка, как песнь соловья. Как соловей не может не петь, так и Новгород-Северский не может не писать свои стихи, которые льются музыкально и без усилия.

В Париже появился в прозе сборник «Сказки сибирские, легенды о Божией Матери», и ждут печати сборники «Восточные легенды», «Моя Сибирь», «Сказочный клад Алтая», «Таежные рассказы».

После тяжелого последнего заболевания в январе 1948 года, И. И. Новгород-Северский поправился только осенью 1953 года и вновь приступил к усиленной творческой деятельности, всегда сосредотачиваясь на русском сибирском быте.

И. С. Шмелев, дядя жены Ивана Ивановича, Юлии Александровны Кутыриной, отметил талант Новгород-Северского большой статьей о нем под заглавием «Певец ледяной пустыни». Пушкинисты М. Гофман, Борис Бразоль, Г. В. Месняев и другие писатели и литературоведы писали о нем, как о талантливом поэте и писателе в Италии, в Бельгии, Франции и Германии.

Несколько радиопередач в Париже было посвящено его творчеству, многие стихотворения и сказки вошли в эти программы, а также были воспроизведены и в Буэнос-Айресе, и некоторые переложены на музыку Алексеем Лебедевым и Георгием Сериковым. Следует

отметить, что прошлой зимой замечательная «Песня Песней», созвучная царю Соломону, была выполнена под музыкальную сюиту на двух роялях в передаче ее композитора Георгия Серикова и пианистки Ольги Грабовской. Текст — в переводе на французский язык. Передача по радио была записана на магнитофонной ленте и является большим вкладом в сокровищницу русского зарубежья.

«Русская Жизнь» горда тем, что И. И. Новгород-Северский является ее верным постоянным сотрудником. Я же лично должна сказать, что еще больше горжусь тем, что Юлия Александровна Кутырина (сама талантливая, высококультурная писательница и публицистка, лектор радио-Парижа) и Иван Иванович Новгород-Северский приняли меня в свое сердце и нарекли своей дочерью.

* * *

Мы от всего сердца шлем дорогому Ивану Ивановичу Новгород-Северскому лучшие пожелания, чтобы его богатое дарование, полное любви к природе и к ее Творцу, его глубокая вера и любовь к Божией Матери, так возносящие дух человека, дошли, как можно скорее, до широкого читателя, любящего нашу Родину — Великую Россию. Мы желаем ему сил и здоровья на дальнейшие творческие труды и, поздравляя его с семидесятилетием, просим принять, как дар, нашу к нему любовь и преклонение перед его талантом.

А. Делианич.

Ю. А. Кутырина.

(«Литературно-политический ежемесячник Русская Жизнь, № 45).

ИВ. НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ И ЕГО ПОЭЗИЯ

10 июля 1969 года, под Парижем скоропостижно отошел ко Господу поэт-певец Божией Милостью, Матери Божией и большого таланта писатель Сибири, знаток ее народов и ее эпоса — *Певец Ледяной Пустыни* (так называл его писатель И. С. Шмелев) — Иван Иванович Новгород-Северский.

Проф. М. Л. Гофман — пушкинист, писал о нем: «Новгород-Северский — поэт, совершенно непохожий ни на кого другого, но настоящий *Божией Милостью поэт, никому не подражает,* и Пушкину, но выходит на те же самые вершины высокой святой поэзии. В применении к Ив. Новгород-Северскому можно повторить слова Жуковского: «Поэзия есть Бог — в святых мечтах земли».

«О чем он пишет? Диапазон его творчества огромный... Он мог бы написать одно или два стихотворения и все равно был бы громадным поэтом».

Родился Ив. Новгород-Северский 13 ноября 1893 года и провел детство на заимке близ Алексеевска на реке Зее, притоке Амура, а потом в Мариинске, Томской губернии. Род Новгород-Северских происходил из города Новгород-Северска, и переселился в Сибирь много поколений тому назад. Отец его был участником Балканской освободительной войны.

Учился Иван Иванович в Омском Механико-Техническом училище имени Императора Александра III, а

потом окончил с отличием Иркутское Военное училище. По делам семьи, а позже по делам Переселенческого Управления, где работал идейно, он изъездил на коне и на почтовых всю Сибирь от северной тундры до Алтая и Приморья.

Участник первой мировой войны, он был тяжко контужен и всю жизнь страдал от последствий потрясения. В императорской армии он получил чин капитана, позднее ротмистра, потом принял участие в добровольческом движении. После второй почти смертельной контузии, был отнесен в морг, но ожил и был произведен, особым приказом, ген. Врангелем в полковники. Его песнь — «Пусть свищут пули» — распевалась русскими солдатами всю великую войну, и позже, участниками Корниловского Ударного полка.

В эмиграции Ив. Ив. Новгород-Северский был редактором-издателем юношеских журналов; опубликовал много сборников стихов, а в прозе ему принадлежат «Сибирские сказки, легенды о Божией Матери», «Восточные легенды», очерки об ушедших поэтах и ряд рассказов и очерков книги «Моя Сибирь», часть которых находится еще в рукописи. В 1926—27 годах он был студентом Богословского Института Сергиевского Подворья в Париже.

Все творчество Ив. Новгород-Северского, человека удивительной доброты, проникнуто глубокой верой, почитанием Божией Матери и святых, любовью к России, к воспитавшей его Сибири и ко всей вселенной.

Нужно надеяться, что удастся издать весь ценный поэтический и литературный материал, который остался после почившего маститого писателя и поэта.

Важно его поэтическое восприятие, и высокого духа поэтическое выражение мира.

Картины далекого Севера[1] мощно и красочно встают перед нами в замечательных стихах И. Новгород-Северского, посвященных, неизвестному для большинства читателей, краю сибирского Севера. Необычайный свет Северного сияния, отраженного в снегах и льдах, в фантастических ледяных храмах и замках торосов — стоячего льда, вспышки сполохов, рассыпающихся кумачом, маком, смарагдом в безмолвной полярной ночи:

Сполох горит негреющим огнем . . .
Великий Властелин
Зажег огни и светит мне зачем-то . . .
Волшебна айсбергов капризная судьба,
Родившись в синеве, за тундрой голубою,
Из радуг вся цветная их гурьба . . .

Таинства Севера с его народами, с летом

ШАМАНОВ:

На бубне волшебном летели шаманы —
Спешили за солнцем, встречали весну.
От них убегали седые туманы,
Глухие морозы, степные бураны
С Зимой отходили ко сну.
На бубне гремящем летели шаманы,
Смеялися в тучах, блистали огнем.
Кругом ликовали полночные страны,
Навстречу стремились гагары, турпаны
И ночью над тундрою было как днем.

СНЕЖНОЙ ПАСТУШКИ:

В широкой тундре есть какой-то хмель,
Пьянящe бодрый, дерзко веселящий,

---

[1] См. «Певец ледяной пустыни» Ив. Шмелева, изд. Эдитер Реюни, Париж.

И в буре грозной слышится свирель
Пастушки белой, по снегам кружащей...

ЦАРИЦЫ АГУНДЫ

Агунда — белая царица
Широкой тундры голубой,
Летит снегами, словно птица,
Поет в метели надо мной.

Священные легендарные птицы — Эксекю — те, что вьют гнезда всегда перед бедой...

Их жадные птенцы, бескрылые, слепые,
Стальными клювами стучат в своем пути,
Не зажигай тогда огни сторожевые,
Чтоб не могли впотьмах чудовища найти.

Все наполнено великим дыханием Творца, кипящей жизнью земли, увлекающей и покоряющей нас заветами высшей любви, — вот настроение Новгород-Северского в его Северной поэзии. [2]

И далее, Новгород-Северский через неумолимые законы тайги, [3]

Глубокое море лесное
Шумит, и зеленый прибой,
Могучей широкой волною
Уносит меня за собой.

через звериные тропы, гусиные, журавлиные перелеты уводит нас к «Вершинам, [4] горы, теснясь, устремляются ввысь, ввысь, и человек с ними увлекается взлетом в небеса, к солнцу:

Кручи над кручами, в смелом стремленьи,
Выше и выше, до снежных вершин,

---

[2] См. сборники: «Арктика», «Тундра», «Аргыш», «Заполярье», «Айсберги», «Шаманы», «Чум».
[3] См. сборник «Тайга».
[4] См. сборник «Вершины».

Тянутся к небу их мощные звенья,
Прах попирая бескрылых долин.

Но вот поэт уже несется в «Степи»,[5] поет крылом орлиным, соколиным, о степном море, опьяняющем душу волей и солнцем:

Ты видел цвет на диких ковылях,
Ты знаешь вкус полыни и осоки?
В бескрайней дали, в солнечных степях,
Следил ли беркута полет высокий? . .

или

Степь, бурьян. Ковыльной далью
Зачарован жадный взгляд.
Путь лежит широкой шалью
И цветы как жар горят.
Конь, едва земли касаясь,
Рвется небо увидать.
Еду, солнцу улыбаясь,
Здравствуй, степь — крылатых мать!
На твоем лечу просторе,
О тебе крылом пою . . .
На, возьми, степное море,
Душу вольную мою!

С Новгород-Северским мы подходим к пустыне,[6] к бескрайней дали песчаных дюн, к зыбким и знойным пескам — золотым, вознесенным и пронзенным солнцем, многоустным, многозвонным, где Господь в древнем храме — золотом дацане перед чуждою ему святыней, в синей дымке, под сводом храма, предстал наедине поэту, в его молитве и хвале Творцу:

И вот как поэт воспевает пустыню:

Золотая пыль пустыни,
Нежный, призрачный туман,

---

[5] См. сборник «Ковыль да поле».
[6] См. сборник «Пески поют».

А под нею, в бездне синей,
Воздух, словно океан.
Вознесенный и пронзенный
Солнцем, солнечной стрелой,
Многоустный, многозвонный
И куда-то устремленный
Светлый Божий аналой . . .

или:

Беспечный перс Омар Хайям
Мне повстречался знойным летом,
Стремясь к неведомым краям,
Живу в песках, как он, поэтом.

или:

Смотрю на звезды и пою . . .
О чем? О дюнах, о пустыне,
О караванах в дали синей,
Развеявших печаль мою . . .

или:

Путыня утром хороша:
Звенит песок, живой, летучий . . .
Не здесь ли дикая душа
Вдруг стала легкой и певучей . . .

Россыпь камней самоцветов [7] открывает незабываемую жизнь, полную тайн, связывающих человека с миром минералов, живых, переливчатых, как их грани; вот несколько строф из этих портретов застывших? . . Нет, живых:

АДУЛЯРИЙ:

Адулярий — лунный камень,
Бледно-синий лунный цвет,
Адулярий . . . он не пламень —
Отраженье, эхоцвет . . .

---

[7] См. сборник «Самоцветы».

или АКВАМАРИН:

Аквамарин — застывшая волна,
Зелено-голубой, русалий камень,
Но грань его огня полна,
В нем светлячков волшебный пламень...

или КОРАЛЛ:

Браслет коралловый, запястье —
Для тех, кто жаждет алых уст,
Кто ищет ласки и участья...

или АГАТ:

Агат, как тьма,
Он ею дышет.
Агат, как ночь,
Он мраком пышет...

или ИЗУМРУДЫ:

Изумруды... Это травы
Травы каменных миров,
Камневейные оправы
Камнелиственной дубравы,
Звезд неведомых покров...

или ЖЕМЧУГ ЧЕРНЫЙ:

Жемчуг черный, жемчуг ночи,
Темной страсти, мутных снов...

или САПФИР:

Вот камень царственный — сапфир,
Дворцовый блеск, огонь порфир...

Ив. Новгород-Северский возносит нас далее и уже в лунный мир [8] — лунных морей — лунных сказок и цветов:

В лунных долинах есть чудо-поляны,
Лунных утесов волшебная тень,

---

[8] См. сборник «Лунный цветок».

Кружатся феи толпой осиянной,
Лунный их нежит сиреневый день . . .

и вот еще:

Я В ОТБЛЕСКАХ ЛУННЫХ

Путь лунный — волшебство таинственных линий,
Соцветья спиралей, вплетенных в спираль,
Из отблесков лунных, тревожнее синий,
В нем запах сирени и горький миндаль . . .

Шагая с планетами [9]

В ОГНЕКРЫЛЫЙ ПУТЬ

«Звезда» чуть зримая — Нептун,
Как страж планет на грани мира.
Я чуть коснулся робких струн,
Но громко зазвенела лира.
Приветствую тебя, старик!
Твой каждый шаг — для нас эпоха . . .

Ив. Новгород Северский достигает космических звездных далей, «Созвездия» [10] — целый сборник звездных поэм:

Со звездою к созвездьям шагаю,
Не поэт я — ночной звездочет,
И, порою, мечты достигаю —
Дать в скитаньях какой-то отчет . . .
Нас не кружат — возносят планеты,
Обнимая незримым крылом,
В звездотканные ризы одеты
Не должны мы скорбить о былом.
Все в грядущем — прекрасном, желанном,
Чередой нескончаемых лет . . .

Звездные поэмы служат мостом к миру надзвездному — Предвечные колыбели, глубокие религиозно-фи-

---

[9] См. сборник «Огнекрылый Путь».
[10] См. сборник «Созвездия».

лософские строфы поражают мысль, возвышают душу, завершая стихами глубочайшей христианской любви:

В стремнину вечности низринутся века,
И прах планет развеется над бездной,
Но, голубой дорогою надзвездной,
Нас оградит Незримая Рука.
И выше вечности, к Предвечному стремясь,
С восторгом возносясь к Всесветной Колыбели,
Где новые миры лишь только что зардели,
Мы узрим там стихов иную вязь.
И новая Псалтырь безмолвья потрясет,
И новый Гимн неслыханный услышим,
Скрижали новые грядущему напишем . . .
Верь! К жизни новой нас Предвечный вознесет.

Новгород-Северский вводит нас в свой цикл «Библейских напевов» [11] сборником «Пророки». И из книги «Бытия» библейских пророческих времен, через мудрость пророков Иезекиила, Амоса, Аввакума и др.

Знают все, и цветы и деревья:
Жизнь Дающий — я радуюсь лету,
И над книгою самою древней,
Счет веду всем стремящимся к свету . . .
Пророк изральский Амос
Стоит пред грозным Амосией:
«Я не пророк и не Мессия,
Пастух фекойский, я — Амос
Пасу волов, овец и коз
И собираю сикоморы . . .

И дальше:

Я воспеваю выси, горы,
И воды многие, моря,
Долины — Божии подножья,

---

[11] См. сборник «Пророки».

И звезды в небе — ризы Божьи . . .
Я, верой крепкою горя,
Творца в былинках прославляю . . .
Пою, ко Господу взираю . . .
Пастух фекойский я — не боле,
Молюсь, тружусь, живу на воле . . .
Но раб не твой —
Господний раб!

Ив. Новгород-Северский подходит наконец к Царю Соломону, к «Песне Песней»: [12]

Не будите любви,
Пусть сама к вам придет —
Ветерком или бурею вас унесет . . .
А пока не будите любви . . .
Ланями, сернами
Вас заклинаю!

И вот:

Да не покинут ваши очи
Над морем бедствий, крови слез,
«Деяния Апостолов» — не ночи,
А утро наших грез . . .

Сборник «Аве Мария» есть откровение, но святых других, неправославных церквей: Франциска Ассизского, св. Женевьевы, св. мученицы Екатерины, св. Бригиты, Вероники и других.

АВЕ МАРИЯ

Пресвятая Мария
Темной ночью, до света,
Над землею, над морем
Проходила к Востоку —
Чтобы встретиться с Сыном,
Солнцем нашим пресветлым.

---

[12] См. сборник «Песнь Песней».

Плещут волны седые,
Тихо время колышут,
Как дитя в колыбели . . .

ИЗ ЯКОПОНЕ ДА ТОДИ

— последователя Франциска Ассизского:

Не стыдися восторгов любви
И ликуй, восклицая: Осанна!
Если можешь,
То пой неустанно . . .

Затем поэт глубоко русский и православный преподносит нам еще одно «Лето Господне», в стихах сборника «Святцы», где календарные русские святые шествуют живыми людьми в русском быту:

На Ивана Кущника
Все грехи отпущены,
Бабушка покаялась —
От грехов избавилась
И легко, и радостно . . .

И дальше:

Пришла Лукерья-комарница,
Говорит Царице:
«Что у вас здеся деется,
На что вы надеетесь?»
Молчит Царица, очи потупила
И сказать боится,
Что навалила комариная сила . . .

И затем:

— Семь Симеонов, семь святых,
Идут тайгою по сугробам,
В смиренном виде и убогом —
Без риз, без венчиков литых,
Семь Симеонов, семь святых!

Светлые чудотворные иконы Божией Матери [13] целым ожерельем жемчужин, посвященных Ей, открывают нам дивный мир почитания православной Церковью Богородицы, отраженный в душе русского народа:

ОДИГИТРИЯ — ПУТЕВОДИТЕЛЬНИЦА

Расступитесь, дали синие, —
Дайте тропку Богородице!
Не Она ль Святая Скиния,
И не в Ней ли небо сходится
И с землей, и с нами темными.
Пресвятая Богородица,
Попечалься над бездомными!

ПУТИВЛЬСКАЯ

Не в Путивле плачет Ярославна,
А по всей родной земле,
С нею Матерь Божья неустанно
Сыну молится во мгле.
Русь моя, вечерняя зигзица,
Веруй в горести своей!
Не скорби, — Небесная Царица
Внемлет жалобе Твоей...

ВЛАДИМИРСКАЯ

Чудны лики Твои, Пресвятая!
Дивны думы Твои и дела.
Многоцветною ризой сияя,
Ты отчизну мою вознесла.
Омофором нетленным покрыла —
Грезит Русь у Престолов Твоих —
В них несметная высится сила
Сонмом наших великих Святых...

---

[13] См. сборник «Божией Матери Державной».

И вот «ЧЕТКИ» из сибирских монастырей и праздников светлейших: Рождества, Св. Пасхи, Благовещения, Крещения, также ожидающие своего появления в печати, как и многие другие стихотворения этого цикла, все больше и больше раскрывают широкие пути народного православного быта, — наше родное русское и церковное.

— Звон-то, звон —
Со всех сторон!..
Из Москвы Престольной
Звон-то колокольный —
Тысячепудовый,
Сорок-сороковый.
. . . . .
Пасха наступает,
К Богу приближает;
Целовать Христа
Не в крест — в уста!

И вот еще серия стихов «ИМЕНА» — монастырские грамотки, «ЧИСЛА» — оригинальное сочетание жизни и веры:

Не стая голубей
У зимней проруби
Со голубицами слеталися.
В одну дорогу собиралися.
Семь отроков и двадцать воинов
Святой кончины удостоились.
. . . .
В селениях горних
Упокоены.

Далее мы проникаем с поэтом в мир русской «ДЕРЕВЕНЬКИ» [14] с размахом малявинской кисти, с головокружительными бубенцами на тройке в 20 лет:

---

[14] См. сборники «Деревенька» и «Дунюшка-Дуняша».

По тайге хорошей, что ни день то чудо —
Выпала пороша, краше изумруда...
В звонкий час морозный думать ли о хлебе,
Если кони рвутся, если вам за двадцать,
Если вольной птицей хочется умчаться...

или:

— Разгулялась девица,
Пряжа-то куделится —
Влагой запорошило,
Зимушкой хорошею...

Или еще:

Что за вражья сила,
Ветром Дуню сдуло,
Вихрем закружило,
Мать ты наша — каша!
Где теперь Дуняша,
Дунюшка, Авдотья?..

А вот колоритное народное остроумие в ряде поэмок из русской крестьянской жизни того же сборника «ДЕ-

РЕВЕНЬКА»:

— Чесночок простачок,
Сиволапый мужичок,
Брюхо не калечит,
Семь болезней лечит...

затем:

Навязалися злыдни
Погостить три-дни,
Да что-то загостились,
Видно обжились...
Скачет Тереха:
— У нас и злыдням
Не плохо!...

Деревенские загадки,[15] целый мир цветов и трав русских лугов,[16] полей и степей: чертополох, ковыль, подснежник:

Мой дикий спутник нелюдимый,
Мой верный страж, зеленый еж,
Храни простор непроходимый,
Свобода там, где ты цветешь . . .

Птичий и звериный мир тайги и степей: «ЖУЛАНЧИК», «БУРУНДУК» — «ДЯТЕЛ ПЕПКА»[17]

По тайге добром богатой,
Кто хлопочет, кто стучит,
Кто, носатый — конопатый,
Так хозяйство сторожит?
Это — дятел — мастер Пепка —
Ставит метки на сучки . . .

И вот перед нами открывается книга народов Сибири и Азии: «Остяцкие Поторочья», «Башкирские песни», «ТУНГУЗСКИЕ СКАЗКИ» и т. д.

Он Ламе-Улты-Хо,
Чтоб распознать
Все тайны врачеванья,
Принес в чересах
Золото-песок,
А в рыбьем пузыре
Джень-Шень.
И панты —
Дар таежный
Дороже золота . . .

. . . . . .

и вот еще:

---

[15] См. сборник «Загадок».
[16] См. сборник «Травник».
[17] См. сборник «Дятел Пепка».

Был дух Остяцкий — Урт Игэ,
Он научил стрелять из лука.
А раньше жил Остяк вольней,
Он пас стада и небо славил,
И молоком наполнив рог,
Он возносил богам молитвы . . .

Башкирские песни. Как мила колыбельная песенка про девочку Халиму:

Девочка Халима,
Спи, усни,
Ветер дует мимо,
Мы одни.
Девочка Халима,
Спи, засни,
Мною ты любима,
Бог храни!

Или вот «БЕЛЫЕ КАМНИ»:

Белые камни
Лежали спокойно,
Знойное лето
В закате где-то.
Огни уже зажглися,
Тихо. Спокойно.
Вечер.
И стадо нестройно
Движется к юртам
Убогих башкир.

ПЕСНИ КОРЕИ

В долине речки
Чен-Кан-Мун
Широки ветлы,
Низки ветви.

Хрусталь воды
Как трепет струн.
Народ мечтательный,
Приветлив.

Красивы ковры мхов,
Изумрудно-серые,
Темно-красные,
Нежно-лиловые,
Затканные серым
И белым жемчугом,
А небеса новые
И прекрасные . . .

Маленький Туманган
Звонко шумит по камням,
Маленький Туманган
— Осенний,
И листопадных желтых ям
Шорох весенний . . .

ПЕСНЯ ТУНГУЗСКОГО ОХОТНИКА

Моя мечта, не первый год,
Найти оленя золотого!
Там, за горами он живет,
Рога из золота литого.
Тайгою, степью, вдаль стремлюсь,
В краях неведомых витаю,
По золотым следам гонюсь,
Мечту мечтою настигаю . . .

Кажется, как будто все! Нет . . . Вдруг Новгород-Северский из далекой Сибири переносит нас . . . Куда же? — В старинную русскую усадьбу с белыми колонками

мезонинов, с портретами дедов-орденоносцев, в тяжелых рамах, красавиц в кринолинах и блондах.

Столетние клены и липы в парках, и мыши в бабушкиных сундуках, звуки клавесина — отклики прошлого: [18]

С каких уж пор, как будто бы ничья,
Стоит усадьба в полном запустеньи . . .
Как дорог мне ее волшебный сон,
А не вчера ль задернуты гардины,
Умолк часов старинных звон,
И люстры потемнели у камина! . .
Робкий вздох на клавесине,
В сад отворено оконце . . .
Я притих, я зачарован,
Звуком странным, светом ночи
В голубом тумане лунном . . .
Висит в гостинной бабушкин портрет,
Старушки милой, в рыхлом кринолине,
На свете нет ее уж много, много лет . . .
Но кем усадьба держится поныне?
Конечно, ею . . .
Былое . . . Как хрупко и тонко
Звучит это слово в тиши.
Бреду по аллеям сторонкой,
Кругом никого, ни души!
Две тени тревожно мелькнули
И кажутся призрачным сном,
Не здесь, а в далеком былом,
Навеки они потонули . . .

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Екатерининских орлов
Я вспоминаю в день осенний,

---

[18] См. сборник «Усадьба». — Бессмертие прошлого,

Бродя по Царскому Селу,
Я им пою свою хвалу,
Их прославляю светлый гений . . .
— Кто струн мечтательно коснулся,
Какой волшебник тронул звуки,
Кто в звуках грустно улыбнулся,
В избытке чувства, в нежной муке?

Хочу сказать еще несколько слов о трогательной любви к детям Новгород-Северского, сказавшейся в ряде сборников: «Ребячьи Дразнилки», «Веселые докучки», «Песни-веселушки», «А ну-ка, отгадай», «Заячья капустка», «Огоньки», «Деревенская Нечисть» и многие другие.

БАБА-ЯГА

Баба-Яга сказала «Ага!»
Цап лягушку
И к себе в избушку —
Суп варить, детей кормить.
Ягинятки
На лягушек падки . . .

Я не буду касаться прозы поэта[19] только отмечу много лет уже готовую и недавно вышедшую в печати, интересную, в особенности по оригинальности языка, книгу «Сибирских сказок и легенд» и сборник «Восточные легенды».

Это все? — Еще раз нет, дарование поэта шло все вперед, он работал над новыми темами, составляющими ряд сборников: «Ржаные песни», «Снопурыга», «Стихи о Муроме», «Про Царей-Кесарей», «Давнишки стародавние», «Таежные тропы».

Волк упал подбитый меткой пулей
Вы слыхали волчий смертный вздох?

---

[19] См. Сибирские рассказы в журнале «Весь Мир», Петербург, 1916 г. Журнал «Огонек», Одесса, 1918 г.

Лишь проклятье парни изрыгнули —
Тяжкий мат и ткнули зверя в мох.
Зверь лежит, еще горячий бегом,
Дыбом шерсть как полымя дымит.

. . . .

Будто серый рыцарь был в доспехах
Сбоку алый меч в бою держал . . .
И не мог в охотничьих потехах,
Только волк геройство показал! . .

Временами поэт несся в вихре современной жизни, звал всех к будущему в труде и борьбе за истину, навстречу побеждающему валу любви, где воочию предстанет воля Великого Зодчего:

Апокалипсис времен,
В мировом круговороте,
Мы стоим на повороте . . .
Лучших зорь придет черед,
Надо верить! . .
Все за труд, мы люди — братья!
Нас не тьма возьмет в объятья,
Свет — Творец — Великий Зодчий.

Этот краткий, далеко не исчерпывающий обзор творчества Ив. Новгород-Северского хочется закончить стихотворениями, вполне выражающими настроенность души поэта:

В противоречьи наших дней
У нас одно святое знамя,
Ты, пострадавший за людей,
Ты, распинаемый и нами.
Непревзойденный Твой завет:
Любви, прощенья, состраданья —
Есть высшее на свете знанье,
Единый путь, иного нет.

МЫ ДЕТИ РАДОСТИ

Мы дети радости
И благовестия —
Мы христиане,
Братья во Христе.
И нет у нас,
Ни зла, ни мести —
Одна любовь — Распятый
На кресте
Христос Воскресший!

ПРАВДА ХРИСТОВА

Мирозданье без правды Христовой
Лишь пустыня,
И жизнь — лишь бред,
Не стремись же
За истиной новой —
Ты Спасителю
Шествуй во след.

ИСКРЕННЕЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

опубликовала парижская газета «Русская Мысль» 11 августа 1969 года. Главный редактор Зинаида Шаховская.

В той же газете от 11. IX. 1969 г., № 2755 опубликована статья профессора П. Е. Ковалевского. Вот выдержка из нее:

«...Поэт знаток Сибири и ее народного эпоса Иван Иванович Новгород-Северский с младенческого возраста жил в Сибири, изъездил и исколесил ее вдоль и поперек и впитал в себя всю поэзию Севера России, сибирских лесов и таинственной полной духовности и религиозной напряженности жизни сибиряков...»

Б. К. Зайцев

ПИСЬМО ОТ 13 ИЮЛЯ 1969.

Дорогая Юлия Александровна, к сожалению, не мог быть на погребении Ивана Ивановича (сил становится мало, сердце сдает и порядочно), это правда — простите. О том, как понимаю Ваше горе и как сочувствую говорить не приходится: сам я пережил в свое время подобное . . . Знайте только, что душой с Вами, ушедшего поминаю ежедневно в молитве. Храни Вас Господь. Супруг всегда с Вами, но в ином плане. Как и Вера со мной. А земное горе неизбежно! Храни Вас Бог. Братски . . .

Ваш *Борис Зайцев*.

О. Можайская

«Русская Мысль», 11. IX. 1969, № 2755.

ИВАН НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ — ЧУДЕСНЫЙ СКАЗОЧНИК

Иван Иванович Новгород-Северский скончался 10 июля 1969 года.

Уходят, один за другим, наши лучшие люди, оставляя за собой грусть незаменимой утраты. Грусть, не горечь, потому что они оставили нам чудное наследство.

Мало у нас писателей, которые бы чувствовали себя в сказочном мире, как у себя дома. У Ивана Ивановича Новгород-Северского были все данные для этого: кристальная ясность души, нежность к каждой, самой захудалой, травке, к самой неприглядной букашке: у каждой — свое лицо, свои характерные особенности.

Истинный сказочник должен не только любить детей, но иметь самому детскую непосредственность — не умирающую в сердце жажду узнавать все новые и новые тайны и чудеса, радоваться им, как только умеют радоваться дети.

Было у И. И. Новгород-Северского и то, чего нет у детей: сознательная действенная любовь ко всей вселенной, чистая любовь к Богу, создавшему всю эту красоту, а также к человеку, неразумному и несчастному, к Богородице — Заступнице рода человеческого — «Страннице вечной — заботушке всесветной». Есть у него чувство благодарности к почитаемым народом святым — Егорию-храброму, победителю Змия — хана Брагима, сына Тугарина, и к «русскому богу — Миколе», как зовут Николая угодника инородцы Сибири — язычники.

Тон его повестей * эпический, он верен народному языку, верен христианскому беззлобному приятию суровой судьбы, как наказания за вину перед Богом, перед людьми и всей матерью-природой.

В киргизской сказке про Алтай-гору он повествует, как стала гора испытывать родовые муки: «зачала шуметь, реветь. Словно с нее шкуру сдирают». А киргизы шепчут в страхе: «У, как разошлась! не гору родит, не гору . . .» (а что-то, видно, пострашней!) Но большая гора родила всего-навсего — мышь. «Алтай-гора и успокоилась», не без юмора замечает автор. А как стали к ней кригизы приставать, чтобы гора наделила их чем-нибудь полезным, потому что «жизнь у нас не жизнь, а так — горше горести последней», — то Алтай-гора от-

---

* Ив. Новгород-Северский. «Сказки сибирские, легенды о Божией матери». Издано в Париже: Les Editeurs Réunis 11, rue de la Montagne — Ste-Geneviève, Paris (5e). Напечатано И. Башкирцевым, Мюнхен, Германия.

вечает им: «Надыть видно это!» Киргизы и вернулись восвояси с одной только мышью, за неимением лучшего.

И автор, с эпическим спокойствием и покорностью свойственными много бедствий испытавшему краю, заканчивает сказку словами: «Ты говоришь, сказка ли это? Да всякая сказка — быль. Было это и быльем поросло!»

Сколько бескорыстной любви, целомудренно скрытой в простых лаконических словах сказки эвенков — «Шаман» о том, как неверные и неблагодарные люди, облагодетельствованные своим добрым шаманом, поскупились послать ему, умершему, даже горсть земли, чтобы он мог воскреснуть и продолжать помогать им. «Не послали мне земли, не надо! Все равно помогать буду — сказал». «Шаман был — великий шаман!» — заканчивает сказку Новгород-Северский.

Юмор, не осуждающий, но, все же, острый — в коротенькой поэме в прозе о «Слезах Давида-царя», о том, как «царь Давид на гуслях играл. Псалмы пел. В грехах каялся, плакал». «Было о чем плакать» — добродушно намекает автор на преступление царя и на его душевную муку.

А какая жалость и нежность ко всякой твари и ужас перед жестокостью человека! «Далеко, далеко на горе, однажды зверя я убил — молодого олешка. Олениуха-мать сына звала. Зверя я обдирал и мне не жалко было», — рассказывает охотник-эвенк. А как единственного сына его похитил лебедь, понял он тоску осиротевшей оленухи . . .

А какая богатая образная речь у И. Новгорода-Северского!

В «Мышьей силе» о сватах-кометах сказано: «Махнули сваты хвостами и были таковы. Улетели кометы, будто их помелом смело». В «Зелье лютом», на огороде

— поп-лук растет. «Волосья долгие, зеленые. Важный такой, поперек себя толще. Поверх двадцать одежек — подрясников, — по чину».

Про хмель: «не трожь жалючье отродье. Пусть ползет своими змеиными тропами... Виноват ли хмель, что от змия расти начал, что нету у него никакой иной радости, не дано, окроме змеиного: — ужалить!»

Поражает способность Новгород-Северского погружаться всем существом в народную стихию, отрешаясь от личного, вбирать в себя душу «Сибири-матушки», всех разноязычных племен, ее населяющих, ее дремучей тайги и диких полынных степей.

Книгу эту хочется перечитывать много, много раз...

Ю. Терапиано

«Русская Мысль», 30. X. 1969, № 2762.

ПАМЯТИ И. И. НОВГОРОД-СЕВЕРСКОГО

Скончавшийся 10 июля этого года Иван Иванович Новгород-Северский был автором многих сборников стихов, рассказов и сказок.

Уроженец Сибири (— родился 13 ноября 1893 года) он с детства научился чувствовать природу этого сурового, но чрезвычайно величественного края и нашел свой особый язых, чтобы говорить о ней.

Он любил и людей Сибири — русских и инородцев, умел передавать переживания их, рисовать верованья, обряды и поверья, а также с большой силой чувствовал и прошлое Сибири, ее историю.

Редко можно встретить среди современных поэтов такого певца природы, как Новгород-Северский. Он отличался какой-то неувядаемой свежестью души и способностью нежно любить самую малую травку, поле-

вой цветочек, птицу, букашку и т. д., наравне с громадными деревьями тайги, широтой степей и неудержимым расплывом сибирских рек.

Степная жизнь как странница крылата,
И вольный ветер ей — крестовый брат!
Не нужно мне ни серебра, ни злата,
Ни городов, ни каменных палат.
Шатры свои раскину я капризно —
Сегодня здесь, а завтра где-то там . . .
О, степь моя — зеленая отчизна,
Живой венок моим мечтам!
Ты пой со мной, как жаворонок звонкий,
Струясь привольно синим ковылем . . .
И облачком пусть чей-то профиль тонкий
Следит за мной и за моим конем!

Новгород-Северский с нежностью говорит о «степном теремке», устроенном шмелями в пустом черепе, лежащем в траве, о цветочках «Мышкины сапожки», о чертополохе и ковыле, о степных озерах и речках, о полях, где

Вьется тропинка лукаво
Рыжей проворной лисицей,

вспоминает под «златотканным шатром» «Орды Золотой Караваны» — «Мамаев путь», с которым так гармонируют вьющиеся в воздухе кречеты и ржанье коней, пасущихся в степи, как паслись они и во времена Мамаевы.

Много стихотворений, особенно в ранних его книгах, посвящено изображению пейзажей крайнего Севера, тундры и туземных народов, с их шаманскими волхвованиями, заклинаниями, ритуальными плясками и обрядами.

Может быть, самое ценное в таких стихотворениях Новгород-Северского то, что он сохранил по-детски чи-

стую душу и способен искренне и просто любить и снег, и величие просторов Сибири, а также полудиких, но своеобразных и красочных, древних аборигенов Севера:

. . . Смотри, вотяцкая божничка: —
Как мышка маленький божок!
А вот другой, как будто птичка,
А вот грибок, а вот цветок —
Здесь целый маленький мирок! . .

Тайга — огромное лесное царство, величественна и страшна:

Здесь не в скиту, не в ограде,
Вольное царство тайги,
Как на войне, на параде,
Каждый патрон береги! . .

так как патрон в тайге — великая ценность. Его отсутствие иногда может стоить жизни, так как закон тайги гласит: «Стреляй первым, если не хочешь быть убитым».

В тайге — и памятники прошлого — «Таежный курган», где зарыт был некогда «верный слуга ханский», и «Таежная Кумирня», с ее лампадой из бересты, и добрые, а подчас — и недобрые встречи с людьми всякого рода — с охотниками, беглыми каторжниками или бродячими шаманами.

Новгород-Северский с большой любовью говорит о цветах, о травах и растениях, о птицах и зверях.

Хорек, куличок, белочка, волк, лосиха-мать, синичка и гуси — все у него вызывают нежное чувство, он умеет видеть, как ловки и красивы звери среди природы, на свободе.

Ящериц лапки мелькают,
Вижу их след голубой.
Тайну какую-то знают,
День погасив за собой . . .

Мир в ощущении Новгород-Северского пронизан духовными излучениями высшего мира.

Всюду, — и в ледяной тундре, и в песчанной пустыне Средней Азии, в тайге и в южно-русской степи в Новороссии он постоянно ощущает Божие присутствие:

Хвалите Господа — земля,
Огонь и снег,
И свет и тьма . . .
И бури дух
Над снежной
Бездной! . .

«Звезда чуть зримая, Нептун» вызывет у него ряд образов, связанных с бесконечностью звездных систем в необъятной вселенной, и мысли о Том, Кто привел все эти бесчисленные солнечные системы в гармоническое движение:

В стремнину вечности низринутся века
И прах планет развеется над бездной,
Но, голубой дорогою, надзвездной,
Нас оградит Незримая Рука.
И выше вечности, к Предвечному стремясь,
С восторгом возносясь к Всесветной Колыбели,
Где новые миры лишь только что зардели,
Мы узрим Там стихов иную вязь.
И новая Псалтырь безмолвье потрясет,
И новый Гимн, неслыханный, услышим,
Скрижали новые грядущему напишем . . .
Верь! К жизни новой нас Предвечный вознесет.

Наравне с любовью ко всему существующему, в сердце поэта жила такая же, простая и немудреная, как в простом русском народе, но крепкая исконная вера.

У него есть целый цикл, посвященный различным иконам Божией Матери:

ОДИГИТРИЯ — ПУТЕВОДИТЕЛЬНИЦА

Расступитесь, дали синие, —
Дайте тройку Богородице!
Не Она ль, Святая Скиния,
И не в ней ли небо сходится
И с землей, и с нами темными,
Пресвятая Богородица,
Попечалься над бездомными!

ПУТИВЛЬСКАЯ

Не в Путивле плачет Ярославна,
А по всей родной земле,
С нею Матерь Божья неустанно
Сыну молится во мгле.
Русь моя, вечерняя зигзица,
Веруй в горести своей!
Не скорби, — Небесная Царица
Внемлет жалобе твоей.

В сборнике стихотворений «Северное послание», выпущенном Новгород-Северским в прошлом году, последние его отделы посвящены религиозной лирике.

Отдел «Лепта», составленный из коротких стихотворений, весь устремлен ко Христу.

Отделы «В лугах духовных» и «Песнь песней» навеяны библейскими темами.

Последний отдел «Вселенной жизнь» представляет собой ряд лиричических раздумий о вечности, о том, что за пределами вселенной, о звездах, о бесконечности.

Над мирами миры, а над ними
Вседержащий и благостный Бог.
Но созвездья не станут родными,
Я любовью к тебе изнемог.
И целую тропинку, прощаясь,
Уходя в предуказанный путь,

А к росинкам, едва прикасаюсь,
Их боясь, как моря, всколыхнуть.

Стихи Новгород-Северского певучи и музыкальны, в них много непосредственности, размеры разнообразны, а словесная ткань, — не везде равноценная, изобилует народными названиями, что придает ей своеобразие.

Те же характерные для Новгород-Северского черты мы встречаем и в его прозе, в книге «Сказки сибирские, легенды о Божией Матери», но не буду говорить о прозе Новгород-Северского, так как у нас в «Русской Мысли» недавно была уже о ней статья О. Можайской.

«Русская Мысль», 19. XII. 1968, № 2717.

К 75-ЛЕТИЮ ПОЭТА И ПИСАТЕЛЯ СИБИРИ ИВАНА НОВГОРОД-СЕВЕРСКОГО

Тайга, степи, горы, льды океана, снега и тундры питают творчество Ивана Новгород-Северского, православного певца Сибири. Редакция «Русской Мысли» шлет поэту нашего Севера свои самые лучшие пожелания здоровья и сил для продолжения его творческого пути.

Татьяна Смирнова Макшеева

НА СМЕРТЬ ПОЭТА ИВ. НОВГОРОД-СЕВЕРСКОГО

Когда вдруг дитя умирает,
то плачет безудержно мать,
и Ангелы к ней прилетают,
чтоб лаской ее утешать.
Когда же поэт умирает

то плачут, склоняясь цветы
и тихие слезы роняют
деревья, трава и кусты.
Аккорды на струнах рыдают
и стелется песнь земли,
а звезды лучи посылают
и тихо мерцают вдали.

Франция, 10 июля 1969 г.

Елизавета Латышева

Газ. «Россия», Нью-Йорк, 15. X. 1969, № 8059.

ПАМЯТИ
И. И. НОВГОРОД-СЕВЕРСКОГО

Вести в Чили достигают с большим опозданием, так и известие о кончине поэта Ивана Ивановича Новгород-Северского пришло сюда с опозданием. Поэт скончался в Париже 10 июля 1969 года, но мне все же хочется, как много раз шисавшей о его творчестве, посвятить и его памяти несколько строк. Хотя бы напомнить русским людям некоторые данные из его биографии, не только как о поэте, но и как о Белом Воине, русском герое.

Иван Иванович Новгород-Северский родился 13 ноября 1893 года ночью, под день Иоанна Златоуста. В доме думали, что младенец не доживет до утра и при помощи церковного сторожа был разбужен священник и младенец был принесен к нему в тулупе, чтобы ребенок не умер некрещенным. Ему дали имя Иоанн и в честь святого этого дня и в честь отца. Его мать была глубоко верующей женщиной и все время молилась Пресвятой Богородице о рожденном сыне. Всю

свою жизнь Иван Иванович свято хранил память матери и говорил, что запах овчины — тулупа оставался у него на всю жизнь. Все свое детство он провел в Амурской области, а молодость в гор. Мариинске, около Томска. Учился в Омске, сначала в училище имени Имп. Александра Третьего и потом в Иркутском Военном Училище. Окончил их с отличием. Поступив на службу в Переселенческое Управление, он объехал верхом и на почтовых санях буквально всю Сибирь, от крайнего севера до Алтая и от Великого океана до Урала, что и отразилось в его творчестве (книги: «Заполярье», «Тайга», «Чум»). Осталась пока неизданной задуманная усилиями его талантливой и жертвенной жены Ю. А. его книга «Моя Сибирь», но будем надеяться, что и она скоро увидит свет.

В первую Великую войну он получил тяжелую контузию, будучи в чине капитана и был признан стопроцентным инвалидом. После второй контузии его бросили в морг и он всегда говорил, что это одно из самых тяжелых его переживаний.

Несмотря на инвалидность, он вступил в ряды Белой Армии, где был вдохновителем восстания матросов против красных, за что и был приговорен красными к расстрелу причем были расклеены объявления, обещавшие за его выдачу 50 000 рублей. Спасся он чудом. Ген. Врангель особым приказом произвел его в чин полковника.

Автор боевой песни белых добровольцев — «Пусть свищут пули, льется кровь» — он многих в Белом Движении ободрял и вдохновлял.

Потом — эвакуация, Константинополь, Болгария и, наконец, — Париж.

В Париже он поступил в 1926 году в Богословскую Академию при Сергиевском Подворье, но тяга к лите-

ратуре и влияние И. С. Шмелева (он женился на родственнице Шмелева — Ю. А. Кутыриной, у которой сейчас в доме музей имени И. С. Шмелева) заставили его посвятить себя исключительно писательской работе. Из-под его пера вышло несколько сборников стихотворений и книг. О «Созвездиях» я уже писала в «России» от 21 мая с. г., а сейчас в память поэта мне хочется привести несколько стихотворений из его сборника, посвященного иконам Божией Матери «Чудны Лики Твои, Пресвятая».

Его стихотворения переводятся постоянно на итальянский язык и знаменитый итальянский поэт Лионелло Фиуми — его большой и искренний друг, всегда печатает их в отделе иностранной литературы в журнале «Две Венеции», прекрасно оформленном, отводя ему почетное место.

Все три стихотворения (из сборника «Чудны лики Твои Пресвятая»), положены на музыку композитором Алексеем Лебедевым, тоже живущим в Париже.

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА

23 июня — день Всех Святых на Русской Земле просиявших, день сретения иконы Матери Божия Владимирския.

Чудны Лики Твои, Пресвятая,
Дивны думы Твои и дела.
Многоцветною ризой сияя,
Ты Отчизну мою вознесла.
Омофором нетленным покрыла,
Грезит Русь у Престолов Твоих,
В ней небесная высится сила
Сонмом наших великих святых.

Предстоят . . . и Тебя прославляют,
Озаряют и нас, неживых
И о нас пред Тобою взывают
В неустанных молитвах своих.

НЕРУШИМАЯ СТЕНА

В день Всех святых празднование иконы Божией Матери «Нерушимая Стена».

Как море бурное порою,
Грозна житейская волна.
Мы за Тобой, как за стеною,
О, Нерушимая Стена.
Но будь для нас Стенорушитель,
Когда в пути настигнет тьма,
Когда и Божия Обитель
Послужит миру, как тюрьма.
Как море бурное порою,
Грозна житейская волна,
Мы за Тобой, как за стеною,
О, Нерушимая Стена! . .

Наконец, стихотворение, посвященное эмигрантам, вдохновляющее их на молитву и на воспоминание о наших святынях:

БОЖИЯ МАТЕРЬ «ОДИГИТРИЯ»

(Путеводительница)

Расступитесь, дали синие!!
Дайте тропку Богородице!
Не Она ль Святая Скиния
И не в Ней ли небо сходится
И с землей, и с нами темными . . .
Пресвятая Богородица,
Попечалься над бездомными!

Иван Иванович, вдохновитель в эмиграции духа древней благочестивой православной Руси, обладал удивительным чутьем к истории России и, кажется, читая его произведения, что вот мы уже стоим у ворот нового великого русского взлета после самого страшного падения, которое знала наша святая Родина, когда новое русское творчество уже без всякого западного влияния, встанет на свое место и своей творческой силой охватит весь мир. А воспетые Иваном Ивановичем Лики Пресвятой Богородицы звучат весенней радостью перед Зарей Русского Воскресения. Да будет так . . .
Сантьяго, Чиле.

Газ. «Россия» Нью-Йорк, 21 мая 1969 г.

«К СОЗВЕЗДИЯМ» ВСЕЛЕННОЙ

Когда читаешь газеты, становится страшно — как это так, что человек собирается лететь на луну?

НАД ЛУННОЙ КАРТОЙ

Я над лунной картой: кратеры, долины
И черта далеких неприступных гор,
Будто бы застыли мертвою лавиной,
Только лишь пугают мой пытливый взор.
Строг и непонятен лик ночного стража.
Путника земного. В чем его краса?
Что в нем затаилось и себя не кажет:
Хладная пустыня, ужас, чудеса?
Светлый мир волшебный в сказочных узорах,
В дымке серебристой тонкий сулуэт,
Плачущей Мадонны в голубых соборах?
Небо вопрошаю . . . Но ответа нет!
Буду верить сердцу, сердце мне подскажет.
Лунной ночью выйду в голубой простор —

Лунный луч дорогу лунную укажет,
К ласковой Мадонне синих лунных гор.

Вот до чего дошел человеческий инженерный гений — гений практического ума. Но гений без духа.

. . . мне невольно пришла на ум голубая книжка, выпущенная не так давно в Париже под заглавием «К СОЗВЕЗДИЯМ».

Это сборник стихотворений нашего недавнего юбиляра, поэта Ивана Новгород-Северского.

Со звездою к созвездьям шагаю;
Не поэт я — ночной звездочет,
И порою, мечты достигаю
Дать в скитаньях какой-то отчет.
Нас не кружат — возносят планеты,
Обнимая незримым крылом;
В звездотканные ризы одеты,
Не должны мы скорбеть о былом.
Все в грядущем — прекрасном, желанном . . .
Чередой нескончаемых лет,
Нам в сиянии звезд неустанном
Сам Творец посылает завет.

ПОТОК КОСМИЧЕСКИЙ

Поток космических лучей . . .
Какая сила в нем?
Струится, блещет, ночью, днем.
Откуда он и чей?
Чем наполняет он в тиши,
В пространстве голубом,
Волшебный мир моей души,
Каким горит огнем?

. . . Никто, кроме Ивана Новгород-Северского не бросил радостный, именно радостный, крик души вверх. Люди предпочитают посылать туда ракеты, бездыханные,

мертвые . . . Никто (кроме Лермонтова) не почувствовал так дыхание этой выси, этой голубой дали, этого величия окружающих нас миров.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВСЕЛЕННОЙ

«Бог есть неограниченное все».
(Последняя запись Толстого).

Что за пределами вселенной,
В безгранной дали? Тьма иль свет?
Царит ли ужас смерти тленной,
Иль радость там и смерти нет?
Что за огнистыми мирами?
Незримый хаос вещества,
Вулкан с мертвящими парами,
Или зияет пустота?
О нет. Там возникает что-то,
Мы там постигнем радость взлета,
В сиянии Его венца.

В СТРЕМНИНУ ВЕЧНОСТИ

В стремнину вечности низринутся века
И прах планет рассеется над бездной,
Но голубой дорогою надзвездной
Нас оградит незримая рука.
И выше вечности, к предвечному стремясь,
С восторгом возносясь к всесветной колыбели,
Где новые миры лишь только что зардели —
Мы узрим там стихов иную вязь.
И новая псалтырь безмолвье потрясет,
И новый гимн торжественный услышим,
Скрижали новые грядущему напишем . . .
Верь, к жизни новой нас Любовь взнесет.

Лично я считаю, что «Созвездия» Ивана Новгород-Северского это не только сам по себе в отдалении стоя-

щий большой вклад в русскую художественную литературу, а да будет мне позволено употребить очень измятое и модное выражение — лучшая пропаганда Православия для безбожника.

Там, в Бесконечности Вселенной,
Где все незримы вещества,
Где места нет для смерти тленной —
Иной закон у естества.
Мы там найдем свою отчизну,
Несолнечный увидим свет
И не промолвим укоризну
Веленью Божьему в ответ.

Из всего того, что Иван Новгород-Северский написал — это, конечно, самое ценное. Эта книга заставляет не только задумываться — она за собой тянет ввысь, она огненным мечом по голове и сердцу бьет. И первое чувство, которое вас охватывает, когда вы ее читаете, — это чувство страха от всего того, что у вас над головой.

КРЫЛАТЫЙ МОСТ

Созвездия Семи огней
Глядят недремлющие очи
И бег веков, как шелест дней,
Как шорох этой лунной ночи.

И Млечный Путь — каскады звезд,
Венец ликующей Вселенной.
Не к вечности ль крылатый мост,
Не торжество ль над смертью тленной?

Мы оторвались от Земли,
Где даже сердце было камень,
Небес большие корабли,
В нас негасимый дышет пламень.

Где верх? Где низ? Пространства нет,
Оно умчалось за веками,
И вместо звезд— нездешний свет,
Без солнц сияющий над нами!

Было бы лучше прочитать людям эту замечательную книжку «К Созвездиям», чем ту литературу, которая сейчас продается всюду. От этой книжки повеет такой Божией радостью, таким счастьем сопутствовать мирозданию, что можно, действительно, и всплакнуть и умилиться и Бога возблагодарить за все.

Вселенной жизнь — Мистерия Господня,
Весь мир — алтарь, струящий фимиам.
Из века в век, и в этот миг, сегодня
Возносит он псалмы и Господу и нам.
Вселенная — огромный светлый храм,
Весь мир — великое богослуженье,
Святой порыв и к горнему стремленье,
Псалмы святые Господу и нам.

ДОРОГОЙ ЛУННОЙ

Я всем восхищаюсь, дорогой лунной
Иду, улыбаюсь, тревожа века,
А в сердце кипучем, в душе арфострунной
И дума о смерти, как песня легка.
За смертью бессмертье. Его ли бояться?
Божественной ночи, прекрасен и день.
Умеют и тучи сиять и смеяться,
Желанна, порою их черная тень.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I

ЧАСТЬ II. Из Великого прошлого

ЧАСТЬ III. Из Восточных новелл

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ВЫШЛИ СБОРНИКИ

ИВ. НОВГОРОД-СЕВЕРСКОГО:

СТИХИ

Айсберги; Аргыш; Арктика; Тундра; Шаманы; Чум; Заполярье; Пески поют; Ковыль да поле; Тайга; Степные огни; Дунюшка-Дуняша; Северные цветы; Самоцветы; Пророки; Песнь песней; Благовестие; Аве Мария; Матерь Божия Державная (стихи и проза); К Созвездиям, Огнекрылый Путь, Лунный цветок; Северное послание; Вершины; Таёжные тропы; Пескам моим; Снежная псалтырь; Бессмертие прошлого; И крест и розы; Лепта; В лугах духовных; Песнь песней (полная); Вселенной жизнь.

ПРОЗА

Сказки сибирские, Легенды о Божией Матери (Париж); Видение Петра (Вратца, Болгария); Как растут кресты (Константинополь); Иван Авдошин (Константинополь).

ЕГО ЖЕ, ГОТОВЫ К ИЗДАНИЮ:

СТИХИ

В скитах; Четки; Деревеньки; Святцы; Избушечьи песни; Ржаные песни; Деревенская нечисть; Давнишки стародавние; Веселые докучки; Огошки; Кузня; Остяцкие поторочья; Песни Кореи; Песни эвенков; Башкирские песни; Бурятские песни.

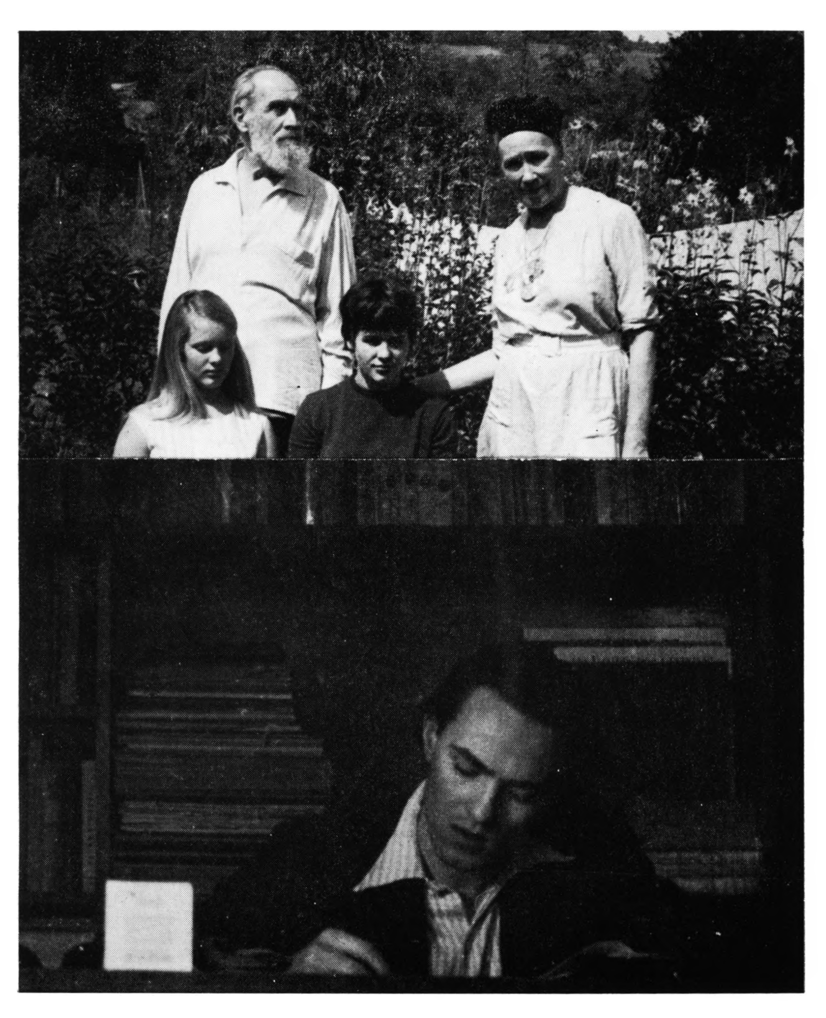
ПРОЗА

Моя Сибирь. (Очерки и рассказы). Содержание:
Таёжные рассказы; Сказочный клад Алтая; По алтайским обителям; Сибирские сказы; О сибирских монастырях; Замечательные люди Сибири; Полярные очерки; Мои сибирские астрономические вечера; Грады и веси Сибири.

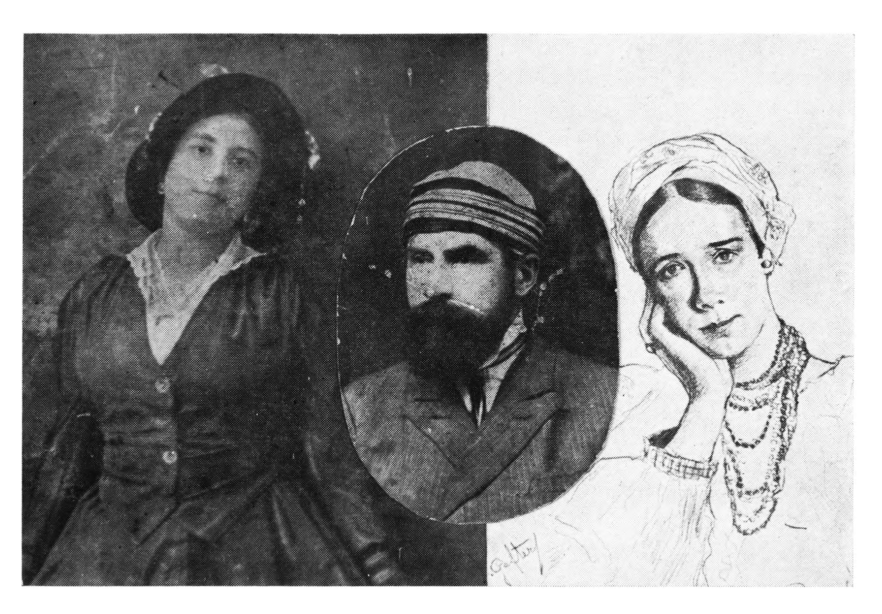
Восточные легенды; Очерки об ушедших поэтах.

Ив. Новгород-Северский в молодости (от 1920 до 1940 г.)

Ив. Новгород-Северский студент Богословского Института (1925—26 г.)
слева монах отец Афанасий
В Сергиевском подворье в Париже (1925 г.)

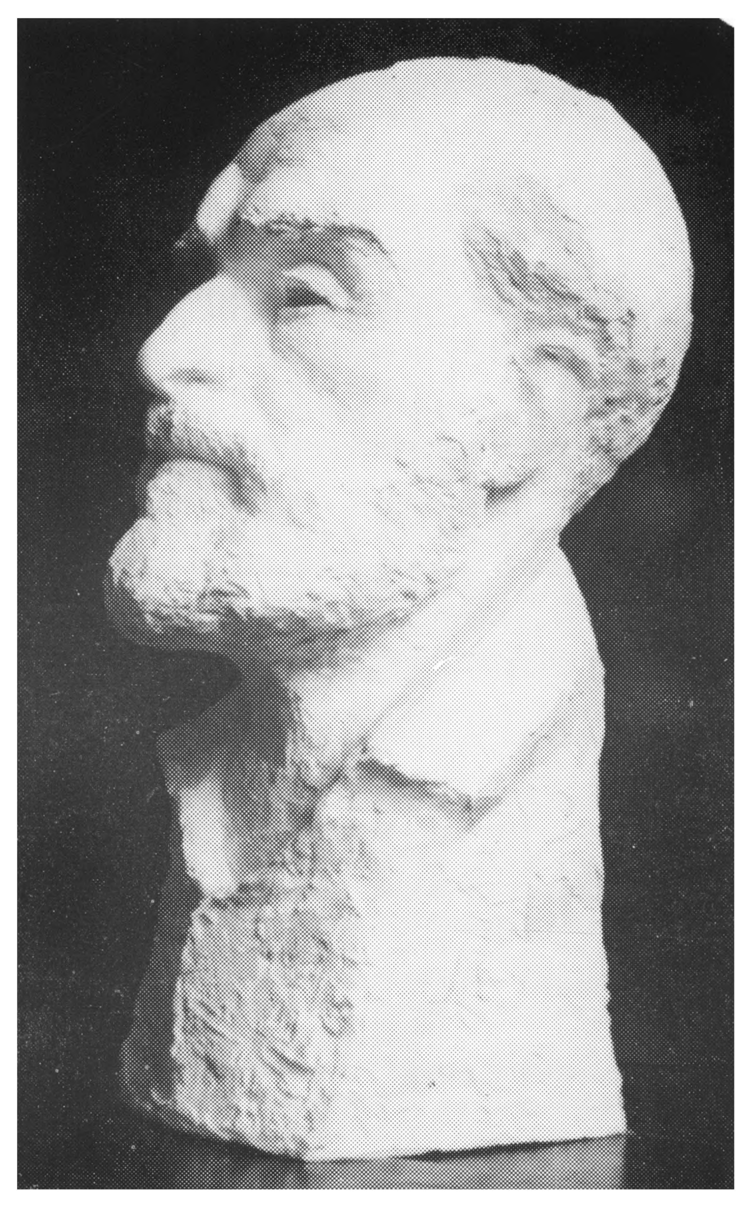


Ив. Новгород-Северский с женой и внучками (1960 г.)
и его пасынок Ивушка

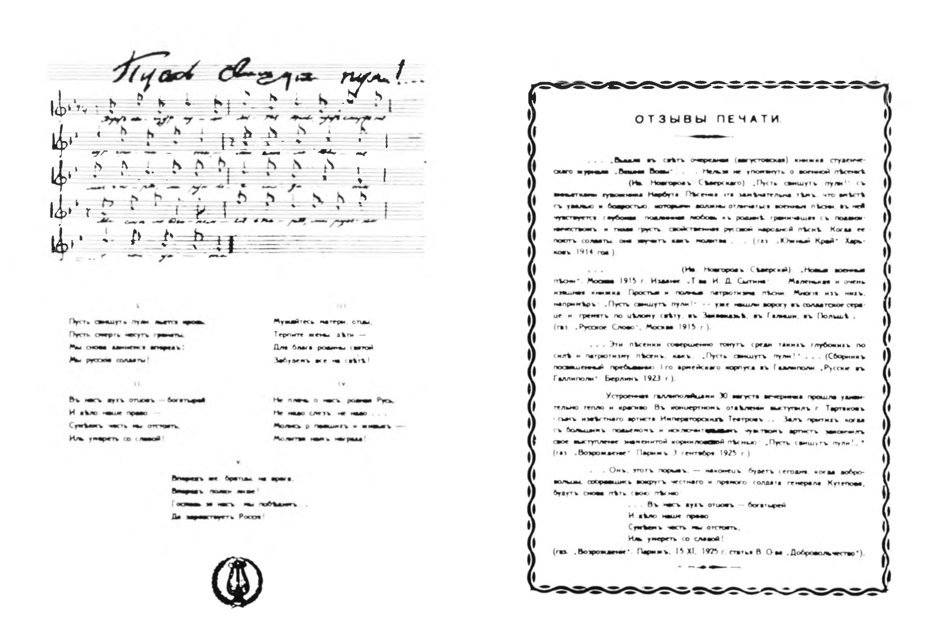


Ив. Новгород-Северский (1920 г.), его мать (слева) и жена. (Портрет работы художника А. Гефтер)

Ив. Новгород-Северский и Б. Зайцев (справа)
(приехал навестить больного Ив. Сергеевича Шмелева в 1948 г.)



Скульптурный портрет Ив. Новгород-Северского работы Л. Лузановской



Пусть свищут пули!...

I.

Пусть свищуть пули, льется кровь,
Пусть смерть несуть гранаты,
Мы снова двинемся впередъ:
Мы русские солдаты!

II.

Въ насъ духъ отцовъ — богатырей
И дѣло наше право —
Сумѣемъ честь мы отстоять,
Иль умереть со славой!

III.

Мужайтесь матери, отцы,
Терпите жены, дѣти —
Для блага родины святой
Забудемъ все на свѣтѣ!

IV.

Не плачь о насъ, родная Русь,
Не надо слезъ, не надо . . .
Молись о павшихъ и живыхъ —
Молитва намъ награда!

V.

Впередъ же, братцы, на врага,
Впередъ, полки лихие!
Господь за насъ, — мы побѣдимъ . . .
Да здравствуетъ Россия!

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.

. . . „Вышла въ свѣтъ очередная (августовская) книжка студенческаго журнала „Вешния Воды" . . . Нельзя не упомянуть о военной пѣсенкѣ (Ив. Новгородъ-Сѣверскаго) „Пусть свищутъ пули!" съ виньетками художника Нарбута. Пѣсенка эта замѣчательна тѣмъ, что вмѣстѣ съ удалью и бодростью, которыми должны отличаться военныя пѣсни, въ ней чувствуется глубокая, подлинная любовь къ родинѣ, граничащая съ подвижничествомъ, и тихая грусть, свойственная русской народной пѣснѣ. Когда ее поютъ солдаты, она звучитъ какъ молитва . . . (газ. „Южный Край" Харьковъ 1914 год).

. . . (Ив. Новгородъ-Сѣверский). „Новыя военныя пѣсни". Москва 1915 г. Издание „Т-ва И. Д. Сытина". Маленькая и очень изящная книжка. Простыя и полныя патриотизма пѣсни. Многия изъ нихъ, напримѣръ: „Пусть свищутъ пули!" -- уже нашли дорогу въ солдатское сердце и гремятъ по цѣлому свѣту, въ Закавказьѣ, въ Галиции, въ Польшѣ . . (газ. „Русское Слово", Москва 1915 г.).

. . . Эти пѣсенки совершенно тонутъ среди такихъ глубокихъ по силѣ и патриотизму пѣсенъ, какъ „Пусть свищутъ пули!" . . . (Сборникъ посвященный пребыванию I-го армейскаго корпуса въ Галлиполи „Русские въ Галлиполи" Берлинъ 1923 г.).

Устроенная галлиполийцами 30 августа вечеринка прошла удивительно тепло и красиво. Въ концертномъ отдѣлении выступилъ г. Тартаковъ - сынъ извѣстнаго артиста Императорскихъ Театровъ . . Залъ притихъ, когда съ большимъ подъемомъ и исключительнымъ чувствомъ артистъ закончилъ свое выступление знаменитой корниловской пѣснью: „Пусть свищутъ пули!.." (газ. „Возрождение" Парижъ 3 сентября 1925 г.)

. . . Онъ, этотъ порывъ, — наконецъ, будетъ сегодня, когда добровольцы, собравшись вокругъ честнаго и прямого солдата генерала Кутепова, будутъ снова пѣть свою пѣсню:

. . . Въ насъ духъ отцовъ — богатырей
И дѣло наше право
Сумѣемъ честь мы отстоять,
Иль умереть со славой!

(газ. „Возрождение". Парижъ, 15 XI. 1925 г. статья В. О-ва „Добровольчество").

Походная песня Ив. Новгород-Северского Великой войны,
ее пела вся Россия и зарубежье

Юбилейные выставки 1963 г.:
Ив. Новгород-Северского (сверху)
(рис. худ. Говард)
и Ивана Сергеевича Шмелева
(скульптурный портрет работы
Лидии Лузановской)